

Мельмот

Автор:

[Сара Перри](#)

Мельмот

Сара Перри

Хелен Франклин, неприметная англичанка, живет в Праге, зарабатывает на жизнь переводами и вот уже двадцать лет хранит какую-то страшную тайну. Ее секрету, казалось бы, суждено остаться в прошлом, но все меняется, когда через Карела, одного из ее немногочисленных друзей, в руки Хелен попадает странная исповедь. Впервые прочитав историю о Мельмот Свидетельнице – пугающей фигуре из старинных легенд, обреченной вечно скитаться по земле и наблюдать за людскими прегрешениями, – Хелен убеждена, что это просто сказка. Но Карел внезапно исчезает, а сама Хелен обнаруживает, что ее кто-то преследует, и вот тогда-то существование Мельмот начинает казаться ей не таким уж и невероятным. Знаменитая легенда о Мельмоте не одно столетие будоражит фантазию и читателей, и писателей. Многие поколения зачитывались классическим романом Чарльза Метьюрина «Мельмот-Скиталец», и вот новая версия великой истории, да еще в исполнении одной из лучших английских писательниц.

Сара Перри

Мельмот

MELMOTH by SARAH PERRY

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.

Книга издана при содействии Rogers, Coleridge & White Ltd

и Литературного агентства Эндрю Нюрнберга

Перевод с английского Анны Гайденко

Дизайн обложки Crow Books

© Melmoth © 2018 Aldwinter Ltd

© Dyer Images © iStock

© Анна Гайденко, перевод, 2020

© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2020

* * *

Памяти

Чарлза Роберта Метьюрина

и Дж. М. Ю.

Держи ум твой во аде

и не отчаивайся.

Силуан Афонский

цитируется по «Работе любви» Джиллиан Роуз

Й. А. Хоффман

Национальная библиотека Чешской Республики

Декабрь 2016

Дорогой доктор Пражан,

Как глубоко я сожалею, что Вы получите эту рукопись и станете свидетелем того, что я совершил!

Вы неоднократно спрашивали: «Йозеф, что вы пишете? Чем вы все время занимаетесь?» Друг мой, я ничего Вам не рассказывал, потому что стоял на страже у двери. Но теперь у меня кончились чернила, дверь распахнута, а за ней поджидает нечто такое, что полностью уничтожит и ту каплю уважения, которое Вы, возможно, питали ко мне. Это я еще смогу перенести, поскольку никогда такого отношения и не заслуживал, но я боюсь за Вас: за порогом светит только один огонек, и он гораздо страшнее темноты...

Прошло десять дней, и я постоянно думаю только о том, как я виноват, виноват, чудовищно виноват! Я не сплю. Я чувствую на себе ее взгляд, поворачиваюсь одновременно с надеждой и с ужасом – и никого не вижу. Я иду по улицам в темноте, будто бы слышу ее шаги и вдруг ловлю себя на том, что протягиваю к ней руку, – но она однажды уже звала меня с собой и едва ли сделает это снова.

Я оставляю эту рукопись сотрудникам библиотеки с указанием передать ее Вам, как только Вы придете.

Простите меня! Она уже близко!

Й. А. Хоффман

Часть 1

Смотрите! В Праге зима. На мать городов с ее тысячами шпилей опускается ночь. Взгляните, какая темнота у вас под ногами, на каждой улице, в каждом переулке, как будто везде метлой взвихрили мягкую черную пыль, взгляните на каменных апостолов на старом Карловом мосту и на голубоглазых галок на плечах святого Яна Непомуцкого. Смотрите! Она идет по белеющей брусчатке моста, опустив голову, – Хелен Франклин, сорока двух лет, не высокого и не маленького роста, не брюнетка, но и не блондинка. На ней ботинки, которые она носит с ноября по март, на запястье – материнские стальные часы. Искрящиеся крупинки снежной соли падают ей на рукава и на плечи. Перетянтому поясом скромному пальто, бесцветному, как и она сама, уже девять лет. Через плечо перекинут узкий ремешок сумки, в которой лежит ее работа на сегодня (перевод с немецкого на английский инструкции к стиральной машинке) и зеленое яблоко.

Зачем вам отвлекаться на такое скучное зрелище, когда над головой рвется покров низких туч, а из перевернутой плоски серебряного месяца на речную гладь льется молоко? Совершенно незачем – если только по той причине, что это последние часы и долгие минуты короткого дня, когда Хелен ничего не знает о Мельмот, когда гром всего лишь гром, а тень – просто темное пятно на стене. Если бы вы могли ей сейчас об этом сказать (шагните вперед! возьмите ее за руку и шепните!), быть может, она бы остановилась, побледнела и в замешательстве уставилась на вас. Быть может, она бы посмотрела на освещенный замок, возвышающийся над Влтавой, на белых лебедей, спящих на берегу, потом развернулась на низких каблуках и пошла обратно наперерез

толпе. Но нет, бесполезно: она бы просто равнодушно и слегка удивленно улыбнулась (она всегда так делает), стряхнула бы вашу руку и двинулась дальше.

Хелен Франклин останавливается на пересечении моста и набережной. Трамваи с грохотом тянутся к Национальному театру, где в оркестровой яме облизывают язычки своих инструментов гобоисты, а первая скрипка трижды стучит смычком по пюпитру. Рождество было две недели назад, но механическая елка на Староместской площади по-прежнему вращается под мелодичные звуки Штрауса, и туристки из Хоува и Хартлпула по-прежнему держат в руках бумажные стаканчики с глинтвейном. С Карловой улицы доносится запах ветчины, дыма и трдельников в сахаре, приготовленных на углях; здесь можно полюбоваться оперением сидящей на перчатке совы, а за пригоршню монет осторожно подержать ее на руке. Но все это сцена, за которой видны канаты и подъемные блоки, – поддаться самообману приятно разве что на один вечер, не больше.

Хелен не обманывается и не обманывалась никогда – развлечения Богемии не для нее. Она не смотрела спектакль на астрономических часах, чей создатель был ослеплен, чтобы другие его творения не превзошли пражские куранты и не посрамили город; не покупала матрешек в алых цветах английского футбольного клуба; не любовалась Влтавой в сумерках. Она изгнанница, совершившая преступление, которое невозможно искупить, и теперь смиренно отбывает пожизненное наказание – сама себе присяжный и судья.

Загорается зеленый свет, и Хелен, подхваченная шумным приливом хлынувшей на дорогу толпы, оказывается прямо у железного ограждения. Она достает из кармана перчатки – и вдруг различает за шумом голосов богатых корейцев, которые спускаются к пришвартованным у причала золотисто-медным катерам, свое собственное имя, донесенное ветром с реки. Кто-то зовет ее: «Хелен! Хелен Франклин!» – так отчаянно, словно бы она уронила кошелек. Вскинув голову и машинально прикрыв рот рукой в перчатке, она вглядывается в толпу и замечает замершего в свете фонаря высокого мужчину, без пальто, в одной голубой рубашке, – дрожа от холода, он прижимает к груди что-то большое и темное. Их глаза встречаются, он делает знак рукой. На ее «Да?» он отвечает повелительным, нетерпеливым: «Да! Может, подойдешь ко мне? Подойди, пожалуйста». Он так дергает рубашку, будто полупрозрачный шелк вызывает зуд, и его бьет крупная дрожь.

- Карел? - говорит Хелен, так и не двинувшись с места.

Это Карел Пражан - ровно половина всех ее друзей и знакомых. Их дружба завязалась в кафе Национальной библиотеки Чешской Республики, где тем утром не оказалось свободных столиков. Он высок и изящно худ, темные волосы всегда блестят. Он носит шелковые рубашки, туфли из замши или телячьей кожи - в зависимости от времени года, - и неизменно выглядит так, будто только что побрился. Есть в нем что-то привлекательное, хоть красотой он и не блещет. Но даже с такого расстояния, даже когда проходящие мимо дети в ярких пуховичках толкают со всех сторон, можно различить землистый цвет его лица и запавшие глаза - как у человека, который не спит ночами. От холода у него посинели губы, а рука, прижимающая к груди темный предмет, неподвижна, будто все суставы в ней окаменели.

- Карел, - говорит Хелен и медленно направляется к нему.

Сделав с десяток шагов, она замечает, что держит он папку из грубой черной кожи, с истершимися от времени кромками, трижды обвитую кожаными шнурком. В слабом свете фонаря блестит отметина на краю папки, но что там написано, не разобрать.

- Карел, - произносит Хелен, - вот, надень-ка мой шарф. Что произошло?.. Где твоё пальто?.. Тебе плохо? - Тут ее осеняет догадка, которая, пожалуй, ближе к истине. - Что-нибудь с Теей?

Перед ее глазами возникает Тея, подруга Карела и, несомненно, лучшая его половина, безжизненно обмякшая в инвалидном кресле и устремившая пустой взгляд куда-то сквозь оштукатуренный потолок первого этажа: ночью еще один тромб в головном мозге - именно этого они всегда и боялись - все же убил ее.

- С Теей? - нетерпеливо переспрашивает Карел. - Да что с ней может быть? Она жива-здоровая... Нет, не надо. - Он с раздражением отталкивает протянутый шарф и пристально всматривается в Хелен, словно силясь понять, зачем она тут.

- Простудишься.

- Забери! Не простужусь. Да хоть бы и так, черт с ним. Давай-ка лучше присядем.

Он оглядывается, будто собираясь усесться по-турецки прямо на тротуаре, потом поднимает кожаную папку и встряхивает ее у самого лица Хелен. Она отмечает, что папка тяжелая, вся в разводах от влаги, плотно набита какими-то бумагами, а в уголке, прежде прикрытом большим пальцем Карела, полустертая позолоченная монограмма – Й. А. Х. Хелен с тревогой понимает, что в том, как Карел держит папку, сквозит одновременно и жадность, и отвращение, будто он всю жизнь жаждал ею завладеть, а обретя наконец, обнаружил, что от нее мерзко пахнет.

– В общем, ничего хорошего. Мне придется кому-то рассказать, а ты как никто другой сумеешь все это выдержать. То есть... – Он осекается на полуслове и невесело смеется. – Да подойди она вплотную и посмотри на тебя в упор, ты и тогда не поверила бы. Ни единому слову не поверила бы!

– Она? Кто – она? Карел, ты взял эту папку... у кого-то из друзей? Прекрати уже свои фокусы!

– Ну... Увидишь, – отвечает он уклончиво.

И направляется куда-то, бросив через плечо, чтобы она не отставала, – так говорят ребенку, причем надоедливому. Она идет за ним по мощенному булыжником переулку, ныряющему в каменную арку, которую и увидеть-то непросто, даром что отсюда до главной туристической улицы не больше десяти метров. Он толкает крашеную дверь, проскальзывает между тяжелыми шторами, защищающими от уличного холода, и, сделав знак следовать за ним, садится в тускло освещенном углу. Хелен знает это место – запотевшие от духоты окна, зеленые пепельницы, тусклые лампочки в плафонах из зеленого стекла, – и тревога ее чуточку отпускает. Она садится рядом (Карела все еще трясет), стягивает перчатки, расправляет на запястьях рукава кардигана и поворачивается к другу.

– Тебе надо поесть. Ты и так слишком худой, а теперь совсем отощал.

– Я не хочу есть.

– Все равно. – Хелен подзывает девушку в белой блузке и заказывает Карелу пиво, а себе воду.

– Думаешь, я выгляжу смешно, да? – говорит Карел.

Он приглаживает волосы, но от этого становится только заметнее, что за последнюю неделю он постарел лет на пять: измученное худое лицо, в щетине блестит седина.

– Что ж, может, так и есть. Вот, полюбуйся на меня. Как видишь, я не сплю. Сижу ночами, читаю, перечитываю... Тебя беспокоить не хочется, поэтому читаю под одеялом. Ну, знаешь, с фонариком. Как мальчишка.

– И что ты читаешь?

Принесли воду с одиноким кубиком льда и пиво.

– Она спрашивает, что я читаю! Без лишних слов. В этом вся ты. Мне даже легче стало – да и как иначе? Когда ты рядом, все это кажется таким... фантастическим, таким нелепым. Ты настолько обыкновенная, что само твое существование словно отрицает всякую возможность необыкновенного. Это был комплимент.

– Я так и поняла. Ну расскажи, что ты там читаешь. – Хелен передвигает свой стакан, чтобы он оказался ровно в центре бумажной салфетки. – То, что в папке?

– Да. – Он вытряхивает из пачки сигарету «Петра» и с третьей попытки зажигает ее. – На, бери. Давай же. Открывай.

В его взгляде мелькает почти злорадство, и Хелен вдруг представляется ребенок, который прячет пауков в пакет с конфетами. Она тянется за папкой – ледяной, будто пропитавшейся вечерним холодом, – распутывает туго затянутый шнурок, с которым приходится повозиться, он трижды обмотан вокруг папки и завязан на несколько узлов. Наконец шнурок неожиданно поддается, папка раскрывается, и по столу разлетаются листы пожелтевшей бумаги.

– Вот, – говорит Карел. – Вот! – И, ткнув в листки пальцем, откидывается к стене.

– Можно посмотреть?

– Если хочешь... подожди, подожди! – Он смотрит на заколыхавшийся бархат штор, потревоженных распахнувшейся дверью. – Это она... это она? Ты ее видишь?

Хелен оборачивается. Входят двое парней – лет восемнадцати, не старше, – раздуваясь от гордости, что могут потратить свой законный дневной заработок. Отряхивают снег с рабочих ботинок, грубовато окликают официантку и утыкаются в мобильники.

– Это какие-то мужчины, – говорит Хелен. – Два самых обычных парня.

Карел смеется, передергивает плечами, снова выпрямляется.

– Не обращай внимания. Почти не сплю, ты же понимаешь... Я просто... мне показалось, что я увидел одну знакомую.

Хелен внимательно изучает его. На лице Карела тревога и замешательство, и ее любопытство обостряется, словно голод. Но сочувствие в ней одерживает верх – сам расскажет, когда решится, и Хелен переводит взгляд на рукопись. Текст написан по-немецки, каллиграфическим наклонным почерком, овладеть которым наверняка было так же трудно, как теперь его разобрать. Некоторые строчки зачеркнуты, внизу – пронумерованные сноски. Рукопись похожа на палимпсест из музейного архива, однако на титульном листе значится 2016 год. Скрепкой к стопке приколот отдельный листок с машинописным текстом на чешском, датированный прошлой неделей и адресованный Карелу.

– Это писали не мне. – Хелен переворачивает листок. Беспокойство снова нарастает, и она произносит резче, чем собиралась: – Нет бы рассказать, в чем дело, но ты ведешь себя как ребенок, которому снится кошмар. Проснись уже, в конце концов!

– Да если б я мог! Если б я только мог! Так, ладно.

Он глубоко вздыхает, кладет обе ладони поверх бумаг и какое-то время сидит неподвижно. И потом спрашивает – спокойным, обыденным тоном, словно это не имеет никакого отношения к тому, о чем они говорили:

– Скажи, тебе знакомо имя Мельмот?

– Мельмот? Нет. Думаю, я бы запомнила. Мельмот... имя не чешское, да? Но и не то чтобы английское...

Хелен повторяет это имя в третий и в четвертый раз, как будто пробует, не горчит ли оно на языке. На ее собеседника это производит странное впечатление – он оживляется, и в запавших, обведенных черными кругами глазах вспыхивает жадный огонь.

– Да и откуда тебе его знать? Всего неделю назад оно и для меня ничего не значило. Всего неделю! – Он снова невесело усмехается. – Мельмот – она...

Его пальцы нервно поглаживают листки, и Хелен думает, что так успокаивают рассерженную кошку.

– Ты когда-нибудь чувствовала, как волосы поднимаются дыбом на загривке, будто холодный ветер ворвался в комнату и преследует именно тебя? Думаешь, это все ерунда, – как там говорят англичане, «гусь по твоей могиле ходит»? Но если бы ты только знала!

Он качает головой, зажигает еще одну сигарету, глубоко затягивается и тушит ее.

– Бесполезно. Ты мне не поверишь, и глупо в такое верить. На, прочти это письмо. – Он вытаскивает из-под скрепки страничку с печатным текстом. – Пойду возьму еще чего-нибудь выпить (видит бог, мне это нужно), а ты пока почитай. Бери же. Разве ты не любопытна, как и все вы, женщины, вечно подслушивающие у двери?

Надежный берег остался позади, и Хелен входит в темное море. Никогда за все годы их дружбы она не замечала, чтобы Карел чего-то боялся, был склонен к суевериям или принимал всерьез легенды. Произошедшая с ним перемена столь же огромна, как облечение смертного в бессмертие, и ей внезапно приходит в голову, что он умрет, что смерть уже оставила на нем и на еще не прожитых им днях свою печать, как водяной знак на белых листах бумаги.

Карел склоняется над барной стойкой, и прежде несвойственная ему сутулость пугает Хелен. Она вспоминает, каким высоким он казался и как прямо держал спину, когда впервые подошел к ней в библиотечном кафе, не найдя свободного столика. «Можно?» – спросил он по-чешски и, не дожидаясь ответа, сел и сосредоточился на какой-то мудреной схеме (пересекающиеся окружности, линии, сходящиеся в одной точке) и на яблочном пироге. Ее чашка с горьким остывшим кофе стояла возле брошюры, которую надо было перевести с немецкого на английский по девять пенсов за слово. Хелен подумала, что вместе они смотрятся как павлин и воробей – доктор Карел Пражан в фиолетовом кашемировом свитере и Хелен Франклин в дешевой линялой рубашке.

Из этой случайной встречи ничего бы, конечно, не вышло, если бы не появилась Тея. Хелен подняла голову и увидела, что к ним, держа руки в карманах шерстяных брюк с широкими отворотами, подошла женщина, наклонилась и поцеловала Карела в макушку. Не слишком высокая, с короткими рыжими волосами, выглядела она лет на пятьдесят, и от нее пахло одеколоном. Она окинула Хелен веселым оценивающим взглядом.

– У тебя завелась подруга? – спросила она по-английски, и Хелен покраснела, потому что прозвучало это если не грубо, то по меньшей мере скептически.

Карел оторвался от своей тетрадки, посмотрел на Хелен с легким удивлением, как будто уже успел забыть о ее существовании, и поспешно сказал по-чешски, что просит прощения за беспокойство и что они сейчас уйдут. Преодолев желание сделать какую-нибудь гадость этой элегантной парочке, Хелен ответила на английском: «Не стоит, я сама уже ухожу» – и начала убирать вещи в сумку.

Тут Тея просияла. В этой внезапной вспышке радости, как потом поняла Хелен, отражался ее талант наслаждаться чем угодно и когда угодно.

– Боже, ваше произношение! Я как будто вернулась на родину. Лондон? Нет, наверное, Эссекс? Оставайтесь с нами, ладно? Сядьте, я сейчас возьму еще кофе... Карел, уговори ее остаться, я не хочу, чтобы она уходила!

Карел и Хелен обменялись понимающими взглядами – боюсь, сопротивляться бесполезно – ничего, я понимаю, – и так у нее впервые за много лет появились друзья.

Действительно, сопротивляться было бесполезно. В выходные Хелен Франклин, которая избегала развлечений и дружеского общения так же усердно, как монах-траппист уклоняется от разговоров, пришла к ним домой. Тея помешивала что-то в медной сковородке, а Карел сидел за вымытым до блеска столом и измерял кривизну выпуклой линзы. Хелен потом узнала, что он работает на кафедре в университете, изучает историю производства стекла и его применения в быту и промышленности.

– Это телескопическое зеркало, – сообщил он, рассеянно поприветствовав гостью и не отрываясь от работы, – так что линза должна быть параболической, а не сферической.

Хелен сняла пальто и перчатки, протянула Тее бутылку вина (которое сама пить не собиралась). Повинуясь жесту хозяйки, села за стол и сложила руки на коленях.

– Расскажите, что это?

– Я делаю телескоп-рефлектор, – ответил Карел. – Шлифую зеркало для него вручную, как Ньютон в 1668 году.

Он отложил стекло и показал ей свои ладони – загрубевшие, покрытые язвочками, с белой крошкой под ногтями.

Тея поставила на стол хлеб и масло. На шее у нее висел необычный зеленый кулон на длинной серебряной цепочке, похожий на стеклянный цветок. На плите шипела сковородка.

– Он никогда его не доделает.

– Фокусное расстояние составляет половину радиуса кривизны, – сказал Карел и посмотрел на Хелен. Не сумев скрыть привычной радости, которую доставляла ей возможность чему-нибудь поучиться, она стала с искренним интересом слушать, как он объясняет, что для создания зеркальной поверхности собирается покрыть стекло слоем алюминия.

Весь вечер Хелен наблюдала за новыми знакомыми. Тея была на десять лет старше Карела и по-матерински опекала и баловала его, время от времени одергивая, когда он, по ее мнению, перегибал палку («Не суй нос куда не надо! У нее свои секреты»). С Хелен она была внимательна и дружелюбна, хотя посматривала на нее с легким недоумением, как на человека довольно приятного, но со странностями. Карел, чьи реплики были полны тонкой иронии, казался равнодушным, – впрочем, это впечатление исчезало, когда он переводил на Тею полный нежности и благодарности взгляд или когда обращался к Хелен как учитель к ученице. Уже потом Хелен поняла, что мысли Карела занимают исключительно две вещи: его подруга и предмет его исследования, и что он из тех людей, кто досыта наедается любимыми блюдами, и к другим его даже не тянет.

Отказавшись от вина и согласившись лишь на крошечную порцию мяса, Хелен спросила Тею:

– Вы тоже преподаете в университете?

– Я на пенсии, – сказала Тея с улыбкой – мол, да-да, она знает, Хелен сейчас начнет протестовать, уверяя, что ей еще очень далеко до пенсионного возраста.

– В Англии она работала барристером, – пояснил Карел, махнув рукой в сторону полка, прогибающихся под весом учебников по праву. – Вон там, в черной жестяной коробке, до сих пор хранится ее парик. Она вела правительственное расследование. Могла бы добиться карьерных высот, если бы захотела, – добавил он с такой гордостью, будто это было его собственным достижением, и поцеловал ее руку. – Мой ученый друг.

От картошки с маслом, поданной на фарфоровом блюде, Хелен отказалась. Тея заметила, что гостя съела только половину своей порции и сделала пару глотков воды, но промолчала.

– Бесконечная работа, никаких развлечений, – сказала она. – Вот я и поехала отдохнуть в Прагу, потом это переросло в длительный отпуск, а там и на пенсию. К тому же я встретила Карела.

Карел поцеловал ее в ответ и с неодобрением посмотрел на тарелку Хелен. Ему, в отличие от Теи, доставало такта.

- Вы не голодны? – спросил он и прибавил: – Что-то вы очень молчаливая.

- Все так говорят, – ответила Хелен.

Тея положила вилку.

- Вы давно в Праге?

- Двадцать лет.

- И чем занимаетесь?

- Переводами, хотя немецкий знаю лучше, чем чешский.

- Ничего себе! А над чем вы сейчас работаете? Шиллер? Петер Штамм? Новое издание Зебальда?

- Инструкция к электроинструментам фирмы «Бош».

(Хелен улыбнулась тогда и улыбается сейчас, вспоминая.)

- Да, врать не буду, я разочарована. Но скажите-ка, я ведь угадала, вы из Лондона? Или из Эссекса?

- Увы, из Эссекса.

- Ну что ж теперь. А в Прагу переехали, потому что?..

Хелен покраснела. Как объяснить свое добровольное изгнание этим чужим улыбающимся людям?

Тея увидела ее замешательство.

- Простите. Никак не избавлюсь от привычки вести перекрестный допрос.

– Интересно, будь наша гостья на скамье подсудимых, какой бы ей вынесли приговор? – поинтересовался Карел и, посмотрев на Хелен поверх бокала, допил вино.

Хелен вдруг почувствовала неприязнь к этой парочке – к их дорогой одежде и теплой квартире, к их обаянию, непринужденности, непрошеному гостеприимству, к тому, как они вытягивали из нее секреты. Но это ощущение быстро прошло, когда Тея, шлепнув Карела по руке, с примирительной улыбкой спросила:

– А кто-нибудь из вас видел в библиотеке в день нашей встречи старика, который плакал над рукописью? Как думаете, что там такое было? Может, он писал любовные письма кому-то давно умершему?

Потом, помогая Хелен надеть пальто, она сказала:

– Я очень рада, что вы пришли. Может, заглянете к нам еще раз, и мы поговорим об Англии, обо всем, что нам в ней не нравится, и о том, как хочется туда вернуться?

Хелен думает об этом с теплотой и в то же время словно сомневается в своих воспоминаниях – за месяцы, прошедшие с того дня, как у Теи случился инсульт, они будто бы стерлись. Больше нет их непринужденных вечерних бесед. А теперь она сидит перед стаканом воды за этим маленьким столиком, с этим новым Карелом – ссутулившимся, встревоженным, чуть ли не безумным. Если содержимое трижды обвязанной кожаным шнуром папки обладает такой страшной властью над ним, может ли оно нарушить и ее душевное спокойствие? Нет-нет, едва ли. Это спокойствие, доставшееся ей огромным трудом, непоколебимо, как камень. Хелен пододвигает к себе листок и читает: «Дорогой доктор Пражан, как глубоко я сожалею, что вы получите эту рукопись и станете свидетелем того, что я совершил...»

Хелен Франклин не пробирает озноб и волосы на ее затылке не встают дыбом, когда письмо дочитано. Ей любопытно, только и всего. Старик исповедуется в каком-то давно забытом грехе (я виноват, виноват, чудовищно виноват), от которого сейчас не вскинет бровь даже самый богобоязненный священник. И все

же (она возвращается к письму, читает: у меня кончились чернила, дверь распахнута) в этом страхе и томительном влечении есть что-то странное, напоминающее стыдливую тревогу в глазах ее друга (она уже близко!).

Возвращается Карел, он несет говядину с густой подливкой, стекающей на ноздреватые кнедлики.

- Ну? - интересуется он с какой-то неприятной улыбкой.

Хелен берет тарелку и начинает есть - медленно, маленькими кусочками, без удовольствия.

- Бедняга, - говорит она. - Лет ему, наверное, уже очень много. Только глубокий старик или какой-нибудь любитель порисоваться станет печатать на машинке.

- Девяносто четыре. Выглядел так, будто его законсервировали в банке с уксусом. Я ему сказал: «Вы еще меня переживете. Приносите водку на мои похороны». Он посмеялся.

Хелен отмечает, что Карел говорит в прошедшем времени.

- Значит, он умер?.. Нет, спасибо, я пиво не буду. - Она кладет вилку и бросает на него сочувственный взгляд. - Знаешь, будет проще, если ты мне все расскажешь. Все - и про старика, и про женщину, которая тебе мерещится. Я не люблю загадки и сюрпризы. Сколько раз я тебе об этом говорила? Терпеть их не могу.

Он смеется, передергивает плечами, доедает свою порцию. Парни в рабочих ботинках уже ушли. В углу, склонившись над книгами, курит студентка.

Карел убирает листы обратно в папку, и его руки перестают дрожать.

- Хорошо, - говорит он. - Я тебе все расскажу. Точнее, расскажу все, что видел сам. Остальное за Йозефом. - Он смотрит на папку. - И да, он умер.

Повисает долгое молчание, оба из приличия как-то неловко склоняют головы. Потом Карел прикуривает от стоящей на столике свечи, откидывается на

крашеную стену возле бархатной шторы и начинает:

– Я встретил его там же, где и тебя, – в библиотеке, ранним утром, чуть меньше года назад...

Тем ранним утром, чуть меньше года назад, мягкие лучи солнца падали на светлую астрономическую башню бывшего иезуитского коллегиума в Клементинуме, где теперь размещается Национальная библиотека Чешской Республики. Получив после инсульта Теи отпуск по семейным обстоятельствам, Карел каждый день сбегал сюда от собственного стыда и чувства вины. Женщина в инвалидном кресле, для которого у них дома приспособили уродливые пандусы, была не той, с кем он прожил десять лет, – он не мог делать вид, что это не так. Тея, которая вечно приглашала чуть ли не первого встречного на ужин или в черный театр[1 - Черный театр (Cerne divadlo) – одна из достопримечательностей Праги, особый вид театра, постановки в котором основаны на принципе «черного кабинета» – оптической иллюзии, которая позволяет скрыть или выделить ту или иную часть сценического пространства. Действие происходит на черном фоне, актеры тоже одеты в черное, а покрытый флуоресцентной краской реквизит или отдельные детали костюмов подсвечиваются ультрафиолетовыми лампами. – Здесь и далее под звездочкой примеч. перев.] – она по-детски обожала эти представления; Тея, по которой и не скажешь, что ей можно доверить секреты, но которой он все-таки их доверял, – он боялся, что эта Тея исчезла навсегда. Ослабевшие ноги в дорогих туфлях стояли на стальной подножке кресла носками внутрь, некогда умелые руки безвольно лежали на коленях или теребили страницы книги. Карел вдруг обнаружил, что роль опекуна, которую всегда играла Тея, совершенно не для него. Кто теперь будет потакать его ребяческим капризам, когда он вынужден мыть ее, носить на руках, выдавливать анальгетики и антитромбоцитарные препараты из запечатанных фольгой блистеров и приносить их ей на блюдце? На подгоревший тост капнули слезы – Карелу хотелось бы, чтобы они были горькими, а не злыми.

– Да уходи ты уже, – сказала Тея. – Давай брысь отсюда. Думаешь, мне нужно, чтобы ты весь день путался у меня под колесами? Иди в библиотеку, а мне потом принесешь чего-нибудь вкусного.

Получив свободу, Карел теперь с облегчением – и со стыдом за это чувство облегчения – с понедельника по субботу приходил в Клементинум. Как обычно, он садился за стол под номером двести двадцать, фотографировал рукописи,

бормотал себе под нос, делал заметки, а днем, когда в библиотеку приходила Хелен, встречался с ней в кафе и брал пирог с маком.

Шла, наверное, вторая неделя этих визитов в библиотеку – весна была уже вся в цвету, – когда его внимание привлек старик за двести девятым столом, от которого его отделял выложенный пробковой плиткой проход. Карел не сумел бы потом объяснить, что заставило его посмотреть в ту сторону, – может, резкое движение или яростный скрип пера? – но долго не мог отвести взгляд. Сосед, одетый в чересчур теплое, не по погоде, пальто, сидел неподвижно, лишь его правая рука строчка за строчкой покрывала страницу изящными буквами. Сидевшие в читальном зале студенты или барабанили по клавишам перед светящимися экранами ноутбуков, или, глядя в потолок, тихонько слушали музыку; старик же принес чернильницу и регулярно, как автомат, обмакивал в нее ручку. Возле чернильницы Карел увидел маленький брусок, какими мостят пражские улицы, – их то расшатывают и выбивают из кладки тысячи ног, то выталкивают снизу корни деревьев. Изредка старик дотрагивался до камня, не поднимая головы от записей. Казалось, во временном континууме образовалась брешь, и заглянувший в нее Карел перенесся на десятки лет назад. «Сейчас я услышу цокот копыт за окном», – подумалось ему.

Текст, над которым работал старик, кое-где сопровождался подробными примечаниями и напоминал научное исследование. Время от времени он перечитывал написанное и, презрительно поморщившись и покачав головой, рвал бумагу в клочья под укоризненными взглядами соседей. Место рядом с ним пустовало, но лампа была включена, а стул старик придвинул к себе, и если кто-то с надеждой подходил, прижимая книги к груди: «Можно?» – он поднимал глаза, сурово качал головой и придвигал стул еще ближе.

На другой день, зайдя рано утром в кафе взять кофе и булочку, Карел увидел за одним из столиков знакомую фигуру. Любопытство подтолкнуло его, словно ладонью в спину, и он подошел, поставил тарелку и спросил:

– Можно к вам присоединиться?

Старик вздрогнул и обвел глазами зал, потом положил руку на спинку стула рядом с собой, будто в знак того, что к нему вот-вот придут, и рассеянно пробормотал:

– А, да... Кажется, тут свободно.

Он говорил осторожно и степенно, и немецкий акцент выдавал в нем человека, для которого Влтава всегда будет называться Молдау.

– Вы так много работаете, – сказал Карел, кивая на лежащую на столе кожаную папку. – Нам всем до вас далеко. Поразительно! – Он протянул руку: – Карел Пражан, Карлов университет. Хотя я бываю там не очень часто, только по необходимости.

– Йозеф Хоффман, – ответил старик. – Приятно познакомиться.

Рукопожатие сопровождалось легким шелестом, будто Хоффман был сделан из бумаги.

Ни о чем важном они в тот день не говорили – стандартные любезные фразы о том, какая хорошая сегодня погода и как трудно в последнее время найти на полках нужные книги, потому что новые сотрудники все время расставляют их по-разному. Но в дальнейшем при встрече они всякий раз обменивались молчаливым приветствием, как коллеги, объединенные общей целью. Приятно было прийти в кафе и застать там Хоффмана, ковыряющего ложкой картофельный салат; приятно было видеть, что он снова принес кожаную папку с позолоченной монограммой Й.А.Х., которую время от времени потирал пальцем, и что по-прежнему хранил в кармане выпавший из брусчатки камень.

Карел так и не выяснил, кем работал Хоффман, но, к своему немалому восхищению, обнаружил, что его новый знакомый, который ни в одной стране не задерживался надолго, обладает огромной эрудицией. У Хоффмана была великолепная память на факты и цифры, и он с большим удовольствием делился знаниями со своим собеседником – наверняка раньше преподавал в какой-нибудь сельской школе. Знает ли Карел, например, что Саддам Хусейн получил в дар ключ от Детройта? Что даже у мертвецов могут быть мурашки?

Они часто говорили по-немецки, и Хоффман посмеивался над неуклюжими фразами и бедным словарным запасом Карела. В благодарность за помощь с грамматикой и лексикой Карел научил Хоффмана пользоваться компьютером, к которому старик относился с почтительным благоговением. Он живо интересовался техникой и то и дело растроганно вспоминал старый

радиоприемник, который как-то раз слушал в детстве. Он был очень начитан и при этом вежлив, тих и довольно застенчив. На расспросы о том, что он пишет, отвечал: «Всего лишь стариковские воспоминания, которые никогда никто не прочтет» – и мягко уводил разговор в другую сторону. Иногда Хоффман ни с того ни с сего впадал в меланхолию, в такие дни он молча слушал своего друга, слегка повернувшись к нему и почти не поднимая глаз от рукописи, которая, казалось, была единственной его заботой. Карел видел, как он перечеркивает страницу за страницей, оставляя острым кончиком ручки глубокие борозды на бумаге, плачет бесслезно, как все старики, которые уже успели полностью выплакаться, и беспокойно двигает по полу соседний стул, а иногда то наклонится к нему, то снова выпрямится...

Так продолжалась их дружба – старика и мужчины, только начинающего стареть. То, что произошло с Теей, выбило Карела из колеи, и каждый новый день демонстрировал ему, насколько велик его собственный эгоизм, но Йозеф Хоффман оставался неизменной частью его жизни, и более того – симпатия к нему была актом искупления.

В то последнее утро, почти год спустя, – зимний воздух был чист и прозрачен, как отполированное стекло, библиотечный дворик блестел инеем – Карел обнаружил, что пришел первым (гардеробщицы допивали из термосов кофе, охранников еще не было), и засмеялся: наконец-то он опередил Хоффмана – Хоффмана, который так часто ворчал, что Карел-де приходит на час позже, чем положено любому прилежному студенту! Ему показалось забавным разыграть старика – может, даже осмелиться занять его место за двести девятым столом или тот самый пустующий стул рядом, рискуя вызвать его гнев. Он незамеченным проскользнул мимо гардероба, перекинув через руку легкое пальто и тихонько посмеиваясь своей невинной выходке. Библиотека была пуста, и каблуки звонко стучали по полу; коридоры, дубовые шкафы с рядами допотопных каталожных карточек, дворик – в отсутствие людей все выглядело совершенно незнакомым, как будто он никогда здесь не бывал. Вот обитая железом, громко лязгающая огромная дверь – он открыл ее и проскользнул внутрь. Даже библиотекарей еще не было, а ряды пустых столов выглядели удручающе и казались дырками от вырванных зубов. Из-под оштукатуренного сводчатого потолка спускались гипсовые ангелочки, визжащие так, будто их пухлые пятки жгли каленым железом. Карел огляделся с беспокойством. Место, где раньше было так удобно работать, теперь отталкивало его, и он повернулся было, чтобы идти обратно. Как тут темно, когда погашены лампы!.. Хотя нет, одна-единственная горит, вон там, в дальнем углу, – наверное, кто-то из персонала ее не выключил, не подумав о счетах за электричество. В ее свете он

увидел силуэт спящего человека. Медленно пробираясь между столами, Карел различил голову, неловко склонившуюся на вытянутые вперед руки, согнутую спину, разметавшиеся по темному рукаву седые волосы. «Йозеф!» – пробормотал он себе под нос. Неудивительно, что старик задремал.

– Йозеф? – ласково, как ребенка, окликнул его Карел, подходя на цыпочках поближе.

Потом он недоумевал: почему ему еще тогда не пришло в голову, что Хоффман, девяносточетырехлетний уставший старик, уснул в тишине и уюте библиотеки навсегда? Приблизившись, Карел легонько дотронулся до его плеча:

– Йозеф! Разве вам не пора уже работать?

Но Хоффман не проснулся – только завалился набок, на зеленое сукно столешницы. Голова его запрокинулась на плечо, отросшие волосы выглядели неопрятно – старику явно было безразлично, что о нем подумают, и Карел спросил себя, всегда ли он был таким. Всегда ли ходил в изношенных ботинках и всегда ли худые, с выпирающими косточками запястья торчали из потрепанных засаленных манжет?

– Йозеф, – снова позвал он и на сей раз потряс спящего за плечо.

Голова на тонкой жилистой шее мотнулась в другую сторону, и Хоффман уставился на своего мучителя невидящим взглядом. Зеленые глаза, полные ужаса, смотрели умоляюще, рот (Карел содрогается, вспоминая) был широко открыт, нижняя челюсть перекошена, как если бы кто-то нарочно вывихнул ее. Окоченевшие руки застыли ладонями вниз, пальцы скрючены, ногти вцепились в обитый зеленым сукном стол, на поверхности прочерчены бледные царапины – по-видимому, Хоффман долго и отчаянно скреб по нему ногтями, – а вокруг валялись обломки бруска, расколотого на мелкие части, словно от удара чем-то тяжелым. Соседний стул был отодвинут, как если бы кто-то приходил поговорить с Хоффманом и уже давно ушел, а под стулом лежало что-то темное – клочок черной материи, очень тонкой, как подол женского платья. Карел вдруг увидел, что по лоскутку пробежала легкая дрожь – так иной раз ткань колышется на ветру. Потрясенный, Карел протянул руку. Тут соскочила оконная задвижка, и распахнувшееся окно гроыхнуло по стене. Он вскрикнул и повернулся – на подоконник опустилась галка, моргнула голубым глазом и

улетела.

Этот-то птичий взгляд, думал впоследствии Карел, и привел его в чувство. На полу не было ничего, кроме ног Хоффмана, бессильно вывернутых носками внутрь, и резких неподвижных теней от стола и стула. Карел выскочил из читального зала прямо-таки неприлично быстро (как будто старик мог подняться! как будто эти руки могли ощупью потянуться к нему!) и, наконец увидев на посту охранников, выпалил:

- Там старик - кажется, у него сердечный приступ, - вызовите «скорую».

Потом все пошло своим чередом: одновременно раздосадованные и облегченно вздыхающие студенты, которых не пустили в библиотеку, горький кофе из чужого термоса, расспросы любопытных сотрудников. Если Карел и вздрагивал, вспоминая лицо Хоффмана и жуткий провал его рта, то думал: что ж, это всего лишь смерть, выплата старого долга, накопившегося за годы жизни. Пока он ждал у выхода, не зная, как поступить (нужно ли оставаться с умершим - а вдруг возникнут подозрения?), к нему с торжественным видом подплыла женщина.

- Доктор Пражан? Я нашла это, когда убирала. - Помолчав, она прищурилась и продолжила: - Там была записка с просьбой передать ее вам. Вообще-то у нас так не принято. Это не входит в мои обязанности. И все же, учитывая обстоятельства... Она ведь принадлежала ему? Покойному? Я сначала решила, что я его не знаю, но как только увидела папку, то представила его так же ясно, как вижу сейчас вас. Всегда было интересно, что значат эти инициалы. Ну теперь-то понятно, да? Думаю, он был немец. - В ее тоне проскользнула едва заметная неприязнь. - А все-таки это ужасно.

Она неохотно протянула папку, и Карел, не раскрывая, положил ее на колени.

Когда Хоффман отбыл - с закрытым ртом, благопристойно упрятанный в застегнутый на молнию нейлоновый саван, - явилась сотрудница полиции. Она напоминала учительницу, недовольную своими учениками. Когда старик пришел в библиотеку? Никто не знает: хотя двери положено было запирать, делалось это далеко не всегда. Когда папку оставили на стойке гардероба? Никто не помнит: она лежала не на виду, и целый час, если не больше, ее просто не замечали. Почему ее надо было передать не кому-нибудь, а именно - как там его

– доктору Пражану? Он не имеет ни малейшего понятия, полиция может ее забрать, если нужно. Неужели никто не видел зажженную лампу? Неужели никто не слышал, как щелкнул дверной замок? Никто не видел, никто не слышал. Ну что ж (женщина поежилась и накинула пальто), если только у покойного в боку вдруг не обнаружится лезвие, на этом, похоже, все. Объявление о том, что библиотека закрыта, сняли, студенты вернулись, и по их сияющему виду было понятно: они уже знают о случившемся и теперь скучный рабочий день станет веселее.

Умолкнув, Карел закуривает новую сигарету. Папка лежит на столе между ними. По мощеному переулку за окном, держась за руки, проходят девушки в белых широкополых ковбойских шляпах. Снег снова припорошил тротуар. Та, что идет последней, – может быть, она отстала потому, что натерли новые ботинки, а может, на душе такая тяжесть, что ноги не идут, – поднимает глаза и видит в окне мужчину и женщину, молчаливых, серьезных, смотрящих на что-то, чего ей с улицы не видно. Эти двое совсем разные, но что-то в их лицах, одновременно и печальных, и как будто взволнованных, придает им невероятную схожесть. Девушка пожимает плечами – разругавшаяся парочка, наверное, – проходит мимо и больше никогда о них не вспоминает.

– Разве все так уж плохо? – говорит Хелен. – Конечно, я соболезнаю твоей утрате, и мертвые... (Карел даже не замечает заминки.) Вид смерти оскорбляет. В нее невозможно поверить. Но он был стар и, скорее всего, даже ничего не понял. Угас, как лампочка, которую давно пора было заменить, вот и все.

– Меня тревожит не его смерть. Я по нему скучаю, только и всего. Но то, что случилось потом...

Карел поднимается, будто что-то внезапно вывело его из терпения или даже разозлило. Хелен понимает, что не справилась с задачей, которую ей навязали обстоятельства и для которой она оказалась совершенно непригодна.

– Слушай, мне пора возвращаться. Тея будет беспокоиться, куда я пропал... Да, хорошо, возьму твой шарф. А ты прочти это, тогда поймешь.

Карел снова разматывает кожаный шнурок и вытаскивает стопку листов, половину содержимого папки, протягивает ее Хелен. Никаких эффектных фраз

или предостережений – похоже, он потерял к рукописи всякий интерес.

– Бери, – говорит он. – Почитаешь, а если и нет, мне все равно. Приходи к нам в гости на следующей неделе, Тея передает привет, – тогда, если захочешь, возьмешь оставшуюся половину.

И снова этот взгляд, который не слишком-то ожидаешь увидеть на лице друга, – наполовину скрытый, наполовину ехидный. Встретившись глазами с Карелом, Хелен какое-то время колеблется, потом забирает листки и прячет их в сумку.

– Ладно... Будь осторожен.

Она серьезна как никогда, но он, отмахнувшись, уже пробирается между шторами, уже выскальзывает за дверь – так поспешно, будто за ним кто-то гонится.

Хелен Франклин занимает комнату на пятом этаже. Она живет к востоку от реки, не то чтобы далеко от метро, хотя вполне могла бы найти что поближе, не в худшем районе города, но и не сказать чтобы в особенно хорошем. В доме есть лифт, которым она не пользуется – ходит только пешком, несмотря на то что ноги болят, а тяжелые пакеты режут пальцы. Открыв дверь, она останавливается на пороге, ждет неизбежного окрика – и скрипучий, недовольный женский голос зовет:

– Хелен? Это ты?

– Я, конечно, – отвечает она и входит. – Кто же еще.

Пройдите следом за ней, и вы увидите маленькую, темную и загроможденную квартирку. Мебель здесь теснится, как скот, который везут в фургоне на бойню, а белые стены сплошь обклеены картинками, семейными фотографиями столетней давности, дипломами за давно забытые бессмысленные достижения и расплывшимися акварельными рисунками, изображающими корабли у причала. Повсюду расставлены какие-то уродливые вещицы: обжитый пауками букет засушенных цветов, матрешки, фарфоровый слоник с отбитым хоботом. Под ними покорно распростерлись ниц вышитые циновки, салфеточки из

синтетического машинного кружева и лоскутки индийской ткани; к потолку поднимается запах дешевых благовоний и сандалового масла; в комнатах полумрак из-за задернутых штор, пыли и дыма. По стене, отражаясь от беззвучно работающего телевизора в углу, плывет голубая рябь. Все это совершенно не вяжется с Хелен, с ее непритязательной одеждой, гладкими седеющими волосами и стремительной ровной походкой, – рискну предположить, что вы в замешательстве. Но если вы откроете дверь дальше по коридору – вон ту, справа, простую, белого цвета, – то увидите комнату, тоже простую и с белыми стенами. Узкая кровать, халат за дверью. Простенький столик, простенький стул, узкий шкаф, в котором висит скромное число скромных нарядов и стоят три пары скромной обуви. Здесь Хелен ест, спит и занимается – повторяет немецкие переходные глаголы и пытается одолеть пятнадцать типов чешских склонений. Музыку она не слушает, спит на голом матрасе, и стены в комнате тоже голые.

Зайдя в тускло освещенный коридор, она ставит сумку на пол.

– Хелен? Я спрашиваю, это ты?

А вот и хозяйка квартиры, переваливающаяся на кривых ногах. Ее истершиеся суставы слабы, как у младенца, поэтому она вынуждена передвигаться с помощью алюминиевых ходунков, которые осыпает многословными проклятиями всякий раз, как они цепляются за ковер. Она укутана в черное, и в складках и многочисленных слоях ткани остались крошки еды недельной давности и запах сандалового масла, талька и пота. Она носит дешевые гранатовые украшения – мелкие камешки в ушах и на пальцах; на груди – брошка, сверкающая, как осколки черной тарелки. Альбина Горакова, девяностолетняя старуха, сварливая, недобрая, любительница слезливых сериалов и рахат-лукума. Хелен делает глубокий вдох и говорит:

– Да, это я. Это всегда только я и никто другой. Вы поели?

– Поела.

Женщины изучают друг друга с глубокой неприязнью, которая день ото дня становится все глубже. Когда Хелен – неприкаянная, не позволяющая себе окунуться в уют постоянного жилья – съехала из очередной унылой комнаты и искала другую, Карел сказал: «По-моему, Альбина Горакова постоянно ищет

жильцов. У нее они больше месяца не задерживаются. Мерзкая старая карга, которую никто терпеть не может – кроме Теи, конечно, – но по-своему забавная, постоянно сидит взаперти со своими мыльными операми и пирожными. – Потом он оценивающе посмотрел на Хелен, насмешливо, но по-доброму, и добавил: – Может, тебе как раз подойдет – будешь жить с неприятной сокамерницей». Он передал ей бумажку с номером, она позвонила – и вот имеем то, что имеем, думает Хелен. Альбина въелась в ткань квартиры, как пятно. Ее запахом пропитаны чашки, стиральный порошок, страницы словарей на полках. Хелен терпит это, как всегда терпит любые неудобства, любые лишения, – стойко, как заслуженное наказание.

– Ну ладно, – говорит Хелен, ожидая услышать колкость (что-нибудь об однообразии ее нарядов, например, или об ограниченности ее жизни, или о том, как плохо и смешно она говорит по-чешски), но ее опасения не подтверждаются.

– Ну ладно, – повторяет Альбина, уходит в свою жаркую, тесную нору и захлопывает за собой дверь.

Что ж! Приговор отсрочен, впереди тихий вечер, а в сумке – рукопись Хоффмана. Хелен вешает пальто, ставит под ним ботинки и заваривает крепкий черный чай. Чайник она несет к себе в комнату и ставит на стол возле стопки листов. Пару минут медлит, стоя на маленьком квадратике серо-бежевого коврика, в свете голубой лампочки. Страшно ли ей? Немного... немного: руки холодеют и покрываются гусиной кожей, в груди что-то обрывается, как будто сердце замерло перед тем, как стремительно забиться. Ей кажется, что за ней следят чьи-то глаза, немигающие, оценивающие. Она поворачивается – только халат на крючке и сумка на кровати. Похоже, болезнь Карела оказалась заразной. Сердце колотится быстрее, и Хелен вспоминает себя в детстве: подростком она, как многие в ее возрасте, считала себя особенной и верила, что уж она-то никак не может быть обыкновенной. Есть еще кое-какое воспоминание, которое Хелен быстро отгоняет, – о том, как холодный взгляд скользил по ее затылку, когда она делала то, что не следовало.

Хелен садится за стол и берет рукопись. Каллиграфический почерк кажется знакомым. Когда она достает из чехла очки, буквы словно расплываются по бумаге, чернила собираются в печатный английский текст – рубленый шрифт, двенадцатый кегль. Она делает глоток горького чая и приступает к чтению.

Рукопись Хоффмана

Меня зовут Йозеф Адельмар Хоффман. Это имя носили мой отец и отец моего отца. Я родился в 1926 году, в деревне к востоку от реки Эгер[2 - Эгер, как она тогда называлась, теперь утратила свое немецкое название и обозначена на картах как Огрже. Есть старая шутка, что Огрже должна быть единственной теплой рекой в Чехии, потому что ohrat значит «греть», но когда я мальчиком плавал в ней, на берег я всегда вылезал дрожа. На ее берегу сейчас стоит Терезин, но я знал это место под названием Терезиенштадт.], в независимом государстве Чехословакия. Родина была старше меня всего на восемь лет. Будь она ребенком, наверняка еще не умела бы завязывать шнурки.

Мой отец был уроженцем земель Чешской короны в Австро-Венгерской империи, и его глубоко огорчало то, что его сын лишен этого права по рождению. Великую войну и распад государства, в котором он появился на свет, отец воспринимал как личное оскорбление. Отхлебнув из любого оказавшегося под рукой сосуда, он говорил мне: «Не забывай, что твоя кровь в этой земле, а земля в твоей крови!»

Мы жили в маленьком домике недалеко от реки. Места наши славились своим стеклом, и в роду Хоффманов было пять поколений стеклодувов. Я сидел на кухне у окна и наблюдал, как мимо проходят сын мясника и герр Шредер, который был ранен при Вердене и учил двадцать мальчиков в деревенской школе. Шрам, оставленный ему осколком снаряда, мы изучили куда лучше, чем латинские глаголы, которые он нам преподавал. Вспоминать об этом сейчас – как заглядывать в буфет, полный разных вещей, часть которых навсегда погребена под слоем пыли, а другую часть можно без труда рассмотреть: вазу из лесного стекла[3 - Лесное стекло – особый вид стекла зеленоватого оттенка, изготавливавшийся с примесью древесной золы.] с застывшими пузырьками воздуха, хранящими дыхание кого-то из моих предков, живших в лесах Богемии; одинокий мозерский хрустальный фужер для шампанского, красивый, но бесполезный; материнскую коробочку со швейными принадлежностями; кольцо с кораллом, которое мне давали, когда у меня резались зубы; пуговицы, споротые с мундира капитана кавалерии; похожий на зеленое стекло молдавит[4 - В 1786 году на заседании Чешского научного общества впервые был описан любопытный минерал. Зеленый полупрозрачный камень, месторождения которого обнаружили только в долине Молдау, получил название молдавит. Он был так похож на зеленое стекло, что сначала его приняли за осколки, которые тысячу лет назад бросали в реку мастера-стеклодувы. Однако наука опровергла

эту теорию, и теперь известно, что эти камни – раздробленные кусочки метеорита, образовавшего четырнадцать миллионов лет назад кратер Нёрдлингенский Рис. Лучшие образцы отличаются ярким цветом и прозрачностью и имеют структуру папоротника, напоминающую морозные узоры на окне. Поскольку Молдау сейчас называется Влтавой, этот минерал больше известен под названием влтавин. Я дорожил своим камнем больше всего на свете, но потерял его, когда мне было тринадцать.] в форме хризантемы.

Думаю, что родители любили меня, как должно всем родителям, но на основании моих показаний ни один судья и ни один присяжный не вынес бы такой вердикт. Я не могу помянуть их добрым словом, как положено хорошему сыну. Мир моей матери ограничивался ежедневными покупками в деревенских лавках и поездками в маленькие городки с другими женщинами, которых, по ее собственным словам, она не любила. Готовила она добросовестно и одевала меня всегда опрятно, но не припомню, чтобы она делала что-то сверх необходимого. Она не вышивала цветы на льняных холстах, как матери других мальчиков, не напевала романсы, пока чистила картошку, не рисовала реку, протекавшую за липовой рощей прямо возле нашего дома. Она была болтлива: не было такой деревенской новости или сплетни на десять километров вниз и вверх по течению Эгера, которой она бы не знала и не пересказывала на все лады, но остроумия историям не доставало. Я любил ее, потому что был ее сыном.

Отец же мой жил чужими заслугами: единственным источником его гордости были чудачества и победы моего деда, прадеда, двоюродных дедов и так далее. Сейчас я представляю его висющим на стене зеркалом – в нем пусто, пока кто-нибудь не пройдет мимо. Когда ему было восемнадцать, в стеклодувной мастерской произошел несчастный случай. Отцу изувечило два пальца на правой руке, и его освободили от службы в армии. Он переживал это как страшное бесчестие и, мне кажется, даже готов был поверить, что будь у него возможность с мужеством истинного Хоффмана отдать долг родине, в той партии в кости с войной ему бы выпал выигрышный расклад. Еще до моего рождения, в годы войны, он надевал принадлежавшую кому-то из наших предков форму – красные бриджи, синий мундир со складками на спине, фуражку с золотой кокардой – и пьяным маршировал туда-сюда по деревне, колотя эфесом сабли в двери домов, где погибли сыновья, и выкрикивая поздравления. Нечасто сын смотрит на отца теми же глазами, что и соседи, но я видел его именно так, и терпеть его не мог, и презирал мать за то, что она согласилась стать его женой. Более того, впоследствии я переложил на родителей часть собственной вины и собственного стыда: они не сделали мне

ничего плохого, но и ничего хорошего тоже не дали. Я был чистой доской, я пришел в этот мир голым и беспомощным, и кем я мог бы стать, если бы мне посчастливилось родиться у лучших людей? Дома я не слышал ничего, кроме пустой болтовни матери и отцовского хвастовства; я не припомню, чтобы они читали книги, наставляли меня в вере или хотя бы учили отличать в звездном небе Орион от Большой Медведицы; у нас не было ни музыкальных инструментов, ни картин – лишь портрет свергнутого императора. Совершил бы я то, что совершил, если бы слушал «Оду к радости» и знал наизусть гимн Шиллера к неземному пламени, если бы читал «Исповедь» Августина или, видя, как Фауст подписывает договор с Мефистофелем, мечтал отговорить его? Родители и сами были людьми невежественными, а меня вырастили еще большим невеждой.

Увечье вынудило отца бросить ремесло, но он хорошо разбирался в цифрах, потому, когда мне было девять, ему предложили работу на стекольном заводе Мозера в Карлсбаде[5 - Как-то раз Карл IV, император Священной Римской империи, родившийся в 1316 году и сначала получивший имя Вацлав в честь Доброго короля, ехал через Богемский лес и наткнулся на горячий источник. Обнаружив, что воды облегчают боль в ноге, мучившую его после давнего ранения, император велел основать у источника маленькое красивое поселение, где могли бы останавливаться его придворные и спутники. Так на берегах Эгера вырос великолепный город с длинными открытыми галереями в стиле ар-нуво, где между высоких колонн прогуливались дамы. На воды приезжали великие – Бетховен, Гоголь, Паганини; приезжал и анатом Пуркине, который открыл существование потовых желез и однажды, съев мускатный орех, несколько дней видел галлюцинации. Дымящаяся вода струилась из бронзовых пастей морских змей в бронзовые чаши, в колоннадах висели часы, похожие на вокзальные, а прибитые к полу бронзовые таблички показывали температуру воды в градусах Цельсия. Все это осталось, а великих больше нет. Прежнего города на картах и дорожных знаках тоже больше нет, и теперь его полагается называть Карловы Вары.]. Ничто не могло бы осчастливить его больше. Мать выходила на прогулку, чтобы похвастаться новым платьем с обтянутыми тканью пуговицами и жесткой нижней юбкой, а отец бросал пригоршни звонких монет в миску для подаяний, когда мы ходили в церковь. Имя Мозера было священной имени Бога. Знаю ли я, спрашивал отец, что у самого Его Святейшества, Пия XI, в Ватикане есть целый набор мозерской посуды? Знаю ли я, что по вечерам начальник цеха изучает каждую вазочку и каждый бокал и разбивает восемь из десяти готовых изделий, обнаружив в них роковую трещинку, которую никто другой не заметил бы? Предполагалось, что и я тоже стану стеклодувом, и к девяти годам я мог рассказать наизусть формулу мозерского хрусталя, как набожный ребенок –

Никейский символ веры. Я знал, что надо смешать кварц, кальцинированную соду, калий и известняк и расплавить их при температуре 1460 градусов. Но в школе я не блистал и не проявлял способностей ни к одному предмету. Сам я ни к чему не стремился. Я всегда довольствовался тем блюдом, которое мне подавали.

Приблизительно тогда же у меня впервые начали проявляться симптомы наследственного заболевания. Так, по крайней мере, я все время его называл, но сейчас мне кажется, что этой формулировкой я ищу себе оправдание и правильнее было бы думать об этом как об одежде, которую мне вручили и которую я носил, не задумываясь, хотя легко мог бы снять.

В первый же день, когда отец вернулся с завода домой, я услышал, как он говорит матери: «Они, конечно, евреи, но неплохие. Таким можно доверять». Я слушал без удивления или осуждения. Одна из немногих книг, которые у меня были, называлась «Берегись лисы», и я смутно догадывался, что это было предостережение насчет евреев. Мне казалось вполне естественным, что их можно без труда обнаружить по серному запаху, – разве в былые века они не травили колодцы христиан и не оскверняли гостию? Разве не похищали христианских детей по ночам – я даже не мог предположить зачем? Образумить меня не могло даже то, что евреи, которых я время от времени видел в Карлсбаде, на вид ничем не отличались от христиан. Хотя я не припомню, чтобы родители когда-нибудь специально взращивали во мне нетерпимость, в разговорах они часто сворачивали на дело Хилснера[6 - Анежку Грузову, швею-католичку, которой было всего девятнадцать лет, нашли первого апреля 1899 года в лесу с перерезанным горлом. Она лежала в луже крови, и на камнях рядом и на ее разодранной одежде тоже была кровь. Арестовали Леопольда Хилснера – молодого еврея, бродягу с интеллектуальным развитием на уровне ребенка, – хотя против него не было достаточных улик. На показательном процессе сторона обвинения заявила, что убийство девушки было частью еврейского заговора с целью похищения христианских детей и использования их крови в темных дьявольских ритуалах. Хилснер был приговорен к смертной казни, и из тюремной камеры ему было слышно, как плотники строят для него виселицу. Позже его помиловали, но так никогда и не простили.]; о нем оба – с тем особенным удовольствием, с которым невежды смакуют мерзости, – помнили с юности, и я думаю, что это тоже сыграло свою роль в становлении моей ненависти к евреям.

Один случай из тех лет я никак не могу забыть. Я ходил в школу по узкой тропке за полем пшеницы, где мне прежде часто доводилось видеть фермера, который зимой вручную собирал с земли камни. У этого фермера была привычка оставлять на поле нечто вроде сиденья, на которое сам он никогда не садился. Зимой это был деревянный ящик, летом – тук сена. Однажды я даже видел посреди разбороненного поля маленький стульчик, но, должно быть, жена фермера это не одобрила, потому что больше стул не появлялся. Я тогда не отличался ни любопытством, ни живым умом, и, должно быть, прежде тысячи других загадок оставляли меня равнодушным, но именно эта вызвала интерес. Однажды утром, встретив фермера на тропинке, я набрался смелости и спросил, зачем нужны эти пустые сиденья. «Так это же для нее», – ответил он и какое-то время молча смотрел на поленницу, сложенную у стены сарая метров за двадцать от нас. Стайка галок клевала что-то с земли. Потом он схватил меня за плечо, и я увидел, что глаза его подернуты мутью. «Это для Скиталицы, – сказал он. – Для Свидетельницы, обреченной ходить из Иерусалима в Константинополь, из Ирландии в Казахстан, для вечно одинокой, отлученной от Божьей благодати и человеческого общества, для той, кто наблюдает за всеми, для той, от чьих глаз не скроются твоя вина и твои преступления, для той, кого Бог лишил даже возможности забыться сном!» Он говорил как сумасшедший проповедник, который ходит по домам с брошюрами в одной руке и кружкой для подаваний в другой. Я ушел, решив, что какая-то пропащая душа попросила оставить ей место, где она могла бы отдохнуть, случись ей проходить мимо, и что фермер, увидев ее однажды еще в детстве, с тех пор живет в ужасе и надежде, что когда-нибудь встретит ее снова.

В тот же день я задержался после уроков, чтобы спросить у герра Шредера, не видел ли он одинокий стул посреди поля пшеницы. Это же старая легенда, удивился он, странно, что ты ее до сих пор не знал.

– Всего-навсего история, которую рассказывают детям, чтобы заставить их слушаться, – пояснил он. – Разве твоя мать никогда не сажала тебя к себе на колени и не говорила, что Мельмот наблюдает за тобой?

Мать никогда мне никаких историй не рассказывала, ответил я.

– Вот как это началось, – сказал он. – Как ты знаешь из своей Библии, несколько женщин пришли ко Гробу Господню и обнаружили, что он пуст и камень отвален в сторону, а в саду увидели восставшего из мертвых Сына Божьего. Но одна из них отказалась признать, что видела воскресшего Христа. За это она обречена

скитаться по земле без крова, без отдыха, вплоть до Его второго пришествия. И вот она вечно наблюдает, вечно стремится туда, где происходит самое страшное несчастье и совершается самая большая подлость в этом мире, который в высшей степени подл и полон горя. Так она становится свидетельницей тому, чему свидетелей нет, и надеется обрести спасение.

Мог ли он рассказать это мне, мальчику, с которым прежде обменивался от силы парой слов? Думаю, да, потому что я хорошо помню его слова и то, как он погладил пальцем бороздку шрама, тянувшуюся от уха до ключицы.

– Так гласит легенда, – продолжал он. – А зовут ее Мельмот Свидетельница, или Мельмотта, или Мельмотка – в зависимости от того, откуда ты родом. Но вот что следует помнить: она одинока, и ее одиночество неизбежно, и кончится оно только вместе с концом нашего мира, когда она получит прощение. Поэтому она приходит к людям, потерявшим всяческую надежду, и те, кого она избрала, чувствуют на себе ее взгляд. Они поднимают глаза и видят, что она наблюдает за ними, – и тогда она протягивает к ним руки и восклицает: «Возьми меня за руку! Мне так одиноко!»

Я поежился и спросил, что случается с теми, кто соглашается. Герр Шредер засмеялся.

– Никто не знает, что с ними случается, – сказал он, – потому что ее не существует. Но будь это правдой, те, чья жизнь стала невыносимой, пожалуй, могли бы и уйти с ней. Выбрось это из головы, юный Хоффман. Ты уже вырос из детских сказок.

Катастрофа постигла нашу семью в тридцать шестом году. Хрупкие вазочки и фужеры Мозера не могли состязаться с прочным фабричным стеклом, и с завода уволили многих работников, в том числе моего отца. В тот день он принес домой завернутую в листы «Прагер тагблатт» красную вазочку, спрятав ее под зимнее пальто. На ободке вазочки была трещина, но отец спас ее от гнева начальника цеха, и это был, наверное, его единственный самостоятельный и смелый поступок за всю жизнь. Он громко сетовал на невезение, из-за которого его судьба оказалась в руках еврея. Нам наверняка грозила бы нищета, если бы только брат моей матери не умер бездетным и она не стала бы наследницей. Он держал обувной магазин в Праге – городе, в котором я никогда не бывал и о

котором никогда даже не думал, – так что к концу года мы оставили и Эгер, и липы, и школу герра Шредера и присоединились к горстке этнических немцев, живших тогда в Праге.

Я помню, какими просторными и светлыми казались магазин и квартира над ним, и ясно вижу эту квартиру со старыми дубовыми полами; помню, что на первом этаже висело множество плакатов, изображавших женские ноги в туфельках на высоких каблуках и легкий край кружевного или атласного подола. В двух больших стеклянных витринах на расстеленных отрезках ткани были выставлены туфли, и я мыл эти витрины каждую субботу, смачивая белым уксусом полинялые носовые платки. Отец вел бухгалтерский учет, а мать помогала школьницам и знатным чешским дамам немецкого происхождения примерять обувь.

Будь на моем месте ребенок посмышленнее, он был бы взбудоражен и счастлив: скромную деревушку с единственной церковью сменил город тысячи шпилей, сверкающих на берегах огромной реки, лестниц, крутых, как горные склоны, оштукатуренных домов, выкрашенных в цвета девичьих весенних платьев, и Пражского Града, который вырос над Влтавой черной и грозной черной громадой. Но у меня сохранились только два воспоминания этих лет: автомобили и трамваи, которые оглушали меня, варварски грохоча под открытыми окнами, да здание на Староместской площади, разукрашенное наподобие веджвудских тарелок, которые мать получила в подарок на свадьбу и которыми с тех пор никогда не пользовалась. В школе я держался незаметно, не общаясь с другими мальчиками, и каждый день стоял за прилавком вместе с матерью, заворачивая в коричневую бумагу проданные сандалии и тапки.

Мне исполнилось одиннадцать, потом двенадцать. Я прибавлял в росте, но ума у меня не прибавлялось. Одноклассники не приглашали меня к себе домой, и мне никогда не приходило в голову позвать их к нам. Единственным нашим гостем был полицейский, отвечавший за порядок в нашем квартале. Мать этого бездетного, но относившегося ко мне с отеческой теплотой человека была немкой, и он был счастлив, что может говорить с моей матерью на языке, который знает лучше, чем чешский. Она называла его герр Новак, как будто они встретились на улице Берлина, а не пан Новак, как звали его чехи, и хотя я смутно догадывался, что было в этом нечто вызывающее, понять, почему это доставляло матери такое удовольствие, я не мог. Мне нравился герр Новак, потому что он умел рассмешить мать, – отец никогда не был на это способен. Его жена была католичкой, причем очень ревностной, и я видел, что ему это в

тягость. Он разговаривал со мной не снисходительно, как часто говорят с детьми, а так, будто я был взрослым мужчиной, ровней и ему самому, и отцу. «Ну, что интересного видел? – спрашивал он, облачиваясь на прилавок и доедая кусок пирога, который, по-видимому, всегда брал с собой. – Как работа подвигается? Все хорошо?» И так мы и жили, я и мои родители, – угрюмые, молчаливые, как три быка, которые плетутся по борозде, не обращая внимания на низкие свинцовые тучи, надвигающиеся с востока.

Наконец кое-что проникло сквозь атмосферу тупого безразличия, в которой я появился на свет. Одно из зданий на нашей улице явно пустовало еще задолго до того, как мы поселились неподалеку. Это был магазин значительно больше нашего, с двумя красными дверями, украшенными железными завитушками, и двумя эркерными окнами, заклеенными старыми газетами. Однажды утром – наверное, в сентябре, потому что на мне были новые, слишком тесные школьные ботинки, – я с изумлением обнаружил, что газеты исчезли, а окна вымыты до блеска. Еще не просохшие красные буквы вывески, раскачивавшейся над дверью на кованом кронштейне, гласили: «КНИГИ И КАРТЫ».

Спрятавшись в дверном проеме бакалейной лавки, я долго рассматривал новые полки, занимавшие стены от пола до потолка, и новый стеклянный шкаф, в котором стопками были расставлены старинные книги. Двое детей, смеясь, руководили женщиной, вешавшей карту Богемии в тонкой медной рамке. Я смотрел, как свет падает на их блестящие волосы, и думал, что женщина очень красива и так не похожа на мою мать – высокая, плотно сбитая, в тонких чулках, обтягивавших крепкие ноги, с модной укладкой волнами. Потом мальчик повернулся, и его умные голубые глаза, отыскав меня в полумраке, встретились с моими – точно рука коснулась руки. На мгновение я ощутил замешательство, мне почудилось, что я смотрю на самого себя глазами этого светлого и белокурого мальчика. Разглядывая его – как прямо он держится, как солнце подчеркивает белизну его рубашки, – я видел и себя тоже. Это было такое чувство, будто меня без предупреждения поставили перед зеркалом. Я смотрел на собственное невыразительное лицо, подстриженные матерью жесткие волосы, опущенные уголки губ и тусклые зеленоватые глаза. Быть может, тогда-то я его и возненавидел? Или позже, когда увидел, как часто он смеется и с какой нежностью мать гладит его по блестящим волосам? Признаюсь, я действительно возненавидел его, и ненависть застряла у меня внутри, как проглоченный камень.

Через три дня я узнал, как зовут мальчика и его семью. Он пришел к нам в магазин в воскресенье после обеда – не за обувью, а за мной. Он заговорил с моей матерью и сразу же очаровал ее сильнее, чем это когда-либо удавалось мне.

– Фрау Хоффман, могу я познакомиться с вашим сыном? – спросил он. – Я совсем недавно приехал в Прагу и ищу друзей.

По-видимому, мальчик был немец, и я знал, что мать, которая считала чешский язык уродливым и способна была произнести на нем только пару фраз, достаточных для того, чтобы продавать обувь, сочтет это аргументом в пользу гостя. Мальчик слегка поклонился ей и бросил на меня заговорщицкий взгляд, чтобы дать понять, что он мой союзник, а вовсе не ее.

– Меня зовут Франц Байер, – сказал он, протянув руку. – Посмотри, там, на улице, моя сестра Фредди.

Я пожал ему руку и помахал девочке за окном – еще одному белокурому созданию, глядящему на меня бесхитростными голубыми глазами. Я не мог понять, сколько им с братом лет, – они были высокого роста и держались так уверенно, как я не смог бы никогда, сколько бы лет ни прожил, но такую белую одежду и туфли с ремешком обычно носят маленькие дети.

– Я видел, как вы приехали, – отозвался я. – У вас много книг.

– Мы их никогда не читаем.

Он сунул руки в карманы и посмотрел на стеклянную витрину, в которой мать выставила пару туфель. Внезапно я осознал, насколько уродливы эти туфли и как плохо я вымыл стекло.

– Я бы предпочел вот это, – дружелюбно заметил он. – Папа считает, мне следует читать хотя бы некоторые из тех книг, что мы продаем, но я готов спорить, никто не предлагает тебе носить эти туфли. Посмотри, какие ленточки! Ой, Фредди нас зовет.

Девочка постучала в стекло, улыбнулась и поманила нас рукой.

– Слушай-ка, – сказал мальчик. – Приходи к нам, посмотришь, что у нас есть. Вчера у нас был день рождения и нам подарили радиоприемник, а показать его некому. – Безо всякого смущения, пожав плечами, он честно признался: – Мама учит нас дома, и друзей у нас нет.

Мне не хотелось уходить из заурядного магазина и от заурядных родителей – здесь моя собственная заурядность не бросалась в глаза. Но мать разгладила складки на платье таким несвойственным ей кокетливым движением, что я почувствовал желание ее пнуть.

– Конечно, он пойдет и поиграет с вами, – сказала она. – Да, Йозеф? Я могу тебя отпустить на пару часов.

Франц взял меня за руку. Не помню, чтобы раньше кто-нибудь брал меня за руку. Я не сумел подавить вспыхнувшую радость – и, конечно, снова возненавидел его за это.

Фредди была не слишком похожа на брата. Сходство между ними проступало в ее жестах, в той непринужденности, с которой она держалась, и в решительном взгляде, но черты ее лица были совсем другими. Я вспоминаю их сейчас, как вспоминал каждый день после нашей встречи: веснушки на носу, всего восемь, и крутой изгиб верхней губы. Очень коротко остриженная челка открывала брови – они были совсем темными и выглядели очень странно в сочетании с белокурыми волосами. Руки у нее были большие и ловкие, а ясные голубые глаза словно обведены по краю радужки темно-синей каймой. Я полюбил ее так же легко и беспричинно, как возненавидел ее брата.

Друг с другом они говорили как повзрослевшие дети, которые встретились после долгой разлуки и теперь должны обсудить семейные проблемы. Они были недовольны тем, что мать вечно волнуется по пустякам, и осуждали отца, который ей это позволял. Они жаловались, что в комнатах у них холодно, и признавались, что Прага, которая не идет ни в какое сравнение с Гамбургом, им не понравилась, но они готовы дать ей второй шанс. Они любят учиться. Они не любят марципан. Они ждут зиму. Они хотят кофе, а я?

– Вот мы и пришли, – сказал Франц.

На пороге магазина он поклонился, как, бывало, делал мой отец, когда хотел подчеркнуть свою принадлежность к роду Хоффманов. Мать Франца стояла рядом с покупателем, переворачивавшим страницы книги с оформленным под мрамор обрезом. Дверь по ту сторону прилавка была распахнута. Мне было плохо видно, что за ней, – только блики света на отполированном дереве и, кажется, еще цветы. «Пойдем внутрь», – позвала Фредди, и они потащили меня через зал за собой, к двери. Франц пинком захлопнул ее. Магазин исчез, и я очутился в комнате, каких никогда раньше не видел.

Думаю, на самом деле она не так уж и отличалась от тех, в которых мне доводилось жить, – у стены стол и четыре стула, обитых гобеленовой тканью, над камином часы, на полу ковер. Но все было подобрано с такой любовью, что я, не успев еще толком разглядеть обстановку, сразу почувствовал, до чего здесь уютно. Палисандровая столешница блестела от пахшего медом воска, гобеленовые сиденья были вытканы вручную, для каждого стула свой рисунок – дикие птицы в зеленом и янтарном оперении. На стенах новые зеленые обои с листьями папоротника, выглядевшими настолько достоверно, что я бы не удивился, если бы они затрепетали от дуновения ветерка из открытого окна. Повсюду были книги, даже на кресле валялись томики с переломленными переплетами и замятыми страницами. Комната хранила следы вчерашнего празднования: гирлянды-цепочки из газетной бумаги, развешанные на рамах картин, открытки на камине. Клей из оставленной на обеденном столе баночки вытек через край и засох на кружевной салфетке, но никому, похоже, и дела до этого не было. В пустом камине стояла круглая стеклянная ваза с цветами.

Я разглядывал комнату с изумлением и досадой. Какое право они имели притащить меня в этот дом, где я выглядел еще скучнее и невзрачнее, чем обычно? Я опустил глаза и устыдился собственных ботинок из коричневой кожи на фоне ярко-красного ковра. Мне было тринадцать. Я не знал, что говорить и как, я даже не слишком хорошо понимал, как должен себя чувствовать. Тут Франц спросил:

– Ну как тебе?

Они стояли перед дубовым буфетом, заслоняя от меня что-то.

– Вот! – И Фредди с шутливым полупоклоном показала мне радио на зеленой бархатной салфетке с золотой каймой.

Конечно, мне доводилось видеть радиоприемники и до этого. В Праге их можно было купить без труда, и даже в нашей деревне на берегу Эгера в доме пастора имелось радио, передававшее трансляции из Австрии. Но я никогда не видел приемник так близко, и уж точно не такой большой.

Они показывали мне его, словно своего новорожденного малыша. Мне ведь нравятся ручки настройки и то, как плавно они крутятся? А сам корпус – разве он не огромный? Разумеется, дубовый! Не хочу ли я посмотреть, что там внутри? А вот об этом я что думаю? Я собирался продемонстрировать полное безразличие, но не мог, потому что за панелью оказались стеклянные лампы, и я не удержался, потрогал их и сказал, что они литые, а не дутые. Эти сведения привели их в невероятный восторг. Откуда я это знаю? Видел ли я когда-нибудь, как выдувают стекло, или, может, выдувал его сам? Я признался, что да, и снова был вынужден выслушивать их восторженные излияния. А не хочу ли я тогда попробовать вывинтить одну из ламп, чтобы рассмотреть поближе, или лучше не надо? Да, лучше не надо, – ну тогда они дадут мне поставить панель на место, раз уж я в этом разбираюсь. Я был совершенно сбит с толку. Они только и делали, что льстили мне и стремились очаровать, но с каждым их словом я будто становился меньше ростом. Я вдруг подумал о своем драгоценном кусочке зеленого молдавита – единственной за всю жизнь красивой вещи, которая мне принадлежала и которая могла бы им понравиться, – но он потерялся по дороге в Прагу, и эта утрата превратила меня в нищего. Потом они включили радио, и зазвучали мелодии кабаре.

В комнате было жарко, пахло душным теплом хорошо отапливаемого дома, и меня, привыкшего к суровой прохладе, одолела сонливость. Я чувствовал запах засыхающего в баночке клея и белых цветов в камине. Фредди принялась танцевать, но это были совсем не те благопристойные, тщательно выверенные движения, каким нас учили в школе; белая юбка взлетала, обнажая бедра и бледный пушок, покрывавший ноги над коленями. Она кружилась и кружилась, смеясь, и я мельком заметил краешек розового атласного белья, которое под этим детским платьицем выглядело неприлично. Я не хотел смотреть, потому что меня замутило, – по крайней мере, так я тогда решил, хотя сейчас понимаю куда лучше, что со мной было на самом деле. Вскоре декадентские мотивы сменились какой-то военной музыкой, и Франц взял меня за руку и промаршировал вместе со мной туда-сюда по комнате. Фредди, обиженная и сразу поскучевшая, свернулась клубочком в кресле и уткнулась в книгу.

– Ну как тебе? – Франц с гордостью положил руку на изогнутый корпус приемника и повернул ручку – мелодия расцвела и тут же угасла.

Мысль о том, что этот рослый смысленый мальчик ищет моего одобрения, вызвала у меня ужас и отвращение. Какое он имел право что-либо у меня просить, если у меня не было почти ничего, а у него было почти все?

– Нормально, – пожал я плечами.

Если на лице Франца и отразилась растерянность, когда его надежды услышать мою похвалу не оправдались, то я этого не увидел, потому что снова перевел взгляд на свои потертые ботинки на ковре. Шнурки были грязными и уже поизносились.

– А, – сказал он и, кажется, принялся обдумывать способ убедить меня в том, что он доставил мне удовольствие, а я его получил.

Тут вошла фрау Байер в синем плиссированном платье в пол, вокруг талии повязано нечто вроде белого хлопкового передника. Туфли на деревянном каблуке, с узким ремешком, на шее жемчуг, совсем не похожий на постоянно рассыпающиеся, собранные на непрочную нитку бусы моей матери, – каждая жемчужинка была закреплена узелком и блестела. Руки у них с Фредди оказались похожи – большие, сильные, с очень коротко остриженными ногтями, и обручальное кольцо было ей великовато.

– Ах! – воскликнула она, дважды хлопнув в ладоши от удовольствия. – Прелестно! Ты новый друг Франца? Он говорил, что ты придешь.

– Я Йозеф Хоффман, – только и выдавил я.

– Ему не слишком понравилось радио, – сказал Франц.

– Тогда вам нужно найти музыку получше, – отозвалась фрау Байер, наклонилась, вытянула пару поникших цветков из стеклянной вазы, стоявшей в пустом камине, и поднесла к носу. – Пахнут тошнотворно, когда вянут, – сообщила она и завернула цветы в газетный лист.

Фредди поставила книгу, которую читала, обратно на полку.

– Можно нам кофе? До смерти хочется кофе. Да, Йозеф?

Кофе мне совсем не нравился, но когда она это произнесла, то мне показалось, что, может быть, я его все-таки люблю.

– Ишь, гурманы! – сказала фрау Байер. – Раз уж у нас гости, я закрою магазин пораньше. Папе не говорите, пусть это будет наш секрет.

Она постучала указательным пальцем по носу, и у меня снова возникло странное чувство, что от меня хотят намного больше, чем я могу дать. Она опустила ставни на витринах, потом прошла на кухню, и я услышал шум льющейся воды и позвякивание чашек о блюдца. Она запела.

Франц уныло крутил ручки приемника. Я почувствовал стыд, а потом злость на него за то, что из-за него мне стало стыдно. Я попросил дать мне попробовать, он немного просветлел и согласился. Прокрутив музыку кабаре и Бетховена, я наткнулся на четкий безэмоциональный голос новостного диктора. Тут Фредди выключила радио и заявила, что с нее довольно.

Потом фрау Байер налила мне кофе с молоком и сахаром, сладкий и успокаивающий. Мы целый час сидели за столом, и я не помню, о чем говорили, – помню только, как фрау Байер время от времени поглаживала детей по волосам и легонько шлепнула по руке потянувшуюся за третьим печеньем Фредди, как естественно это выглядело и как непринужденно они смеялись. Стемнело. Задернули шторы, на стол поставили масляную лампу, и я смотрел, как узкий столбик огня поднимается над белым стеклянным плафоном. Потом Франц сказал, что мне, наверное, пора. Конечно, не то чтобы он хочет, чтобы я ушел, просто он обещал моей матери (он очень вежливо сказал «фрау Хоффман»), что я не буду задерживаться надолго. Он снова спросил, что я думаю о приемнике, и я ответил, что, по-моему, это отличная и очень искусно сделанная вещь. Он прямо-таки засиял от радости, и я почувствовал презрение к нему.

Они провожали меня с такой церемонной любезностью, что это походило на насмешку: я был единственным уродливым предметом в этой комнате, а они обращались со мной как с драгоценностью.

– Мы всегда будем рады видеть вас, герр Хоффман, – заверила фрау Байер, как будто прощалась со взрослым, приходившим к ней по делам.

– В следующий раз я покажу тебе книги, о которых мне знать не положено, – пообещала Фредди, уклоняясь от материнского подзатыльника.

Потом Франц взял меня за руку и церемонно провел через темный зал магазина.

– Я рад, что ты пришел, – сказал он.

Это прозвучало натянуто и без всякого выражения, как будто его научили так говорить. Конечно, я его разочаровал. Что ж, он получил то, чего заслуживал, и больше они меня трогать не будут.

Франц отпер огромную красную дверь с железными завитушками.

– До свидания. – И он отступил в темноту магазина.

Повисло молчание, но я знал, что он все еще здесь. Потом, прежде чем дверь закрылась, он попросил:

– Приходи еще, ладно?

В пространстве между дверью и косяком появилась его рука, сначала шутливо помахавшая мне, а потом выжидающе протянувшаяся навстречу. Я посмотрел на нее – белый манжет рубашки, узкое запястье, длинные пальцы с засохшим клеем под ногтями – и снова почувствовал ненависть к Францу, как тогда, в первое мгновение. Я повернулся к нему спиной. Больше я с ними никогда не разговаривал.

На улице шумели трамваи, студенты и возвращающиеся с работы клерки, а я шагал в одиночестве, разглядывая на брусчатке собственные ноги и думая о бледном пушке, который светлел на коже танцующей Фредди. Так я дошел до нашего магазина и, подняв голову, увидел, что что-то не так. Свет в зале был выключен, и единственная лампочка над боковой дверью, через которую я должен был попасть внутрь, тоже не горела. К небольшому крылечку вели несколько ступенек, погруженных в темноту, и я остановился на мостовой, не

решаясь подняться к двери: вдруг споткнусь и упаду.

Пока я смотрел, темнота сгущалась. Она казалась не просто отсутствием света, а дырой, постепенно всасывающей в себя все мировое зло. Она пульсировала. Я видел, как она расширялась, сужалась и снова расширялась, будто с трудом вдыхая и выдыхая. Мне вдруг показалось, что все самое страшное, скрытое в сердцах мужчин и женщин, все то, о чем я прежде не задумывался, – обман, тщеславие, жестокость – обретало плоть и роилось передо мной полчищем мух. Вдруг темная субстанция изменилась, теперь она напоминала лоскуты тонкого черного шелка, повисшие в дверном проеме и колеблющиеся на ветру; потом лоскуты удлинлись и пролились на ступени, как чернила. Стояла мертвая тишина, и на улице, которой полагалось быть шумной и оживленной, не было ни души – только огромная черная стая галок, высматривающих, куда бы сесть.

Тогда я понял, что за мной наблюдают. Все мое тело напряглось под чужим взглядом, по коже побежали мурашки, и стало больно глазам, которые силились привыкнуть к этой засасывающей черноте. Мне было до одури страшно, но к ужасу примешивалось что-то еще, очень похожее на ту дурноту, которую я почувствовал, когда смотрел на танец Фредди под мелодии кабаре. Это было нечто вроде страха и жажды одновременно, как если бы человек увидел возлюбленную, которую безнадежно желал, а в ее руках – удавку. Я не сомневался, что наблюдает за мной женщина. Очень медленно я повернулся. Никого не было.

Потом зажегся свет, и я увидел на ступеньках мать. Цвет ее платья, на самом деле тусклого и невзрачного, как и все, что она носила, показался мне таким же ярким, как цветы, которые стояли у фрау Байер в камине. Чернота растаяла. Мать сказала:

– Поднимайся, нечего там топтаться, еда уже на столе.

Я подошел, обнял ее за талию и положил голову ей на плечо. Она была теплой и надежной, пахла мылом и уксусом. Мать неуклюже похлопала меня по плечу: «Ну что ты, а? Что такое?» Мы вошли в дом. Отец уже ужинал.

Позже, проходя мимо магазина Байеров по противоположной стороне дороги, я часто слышал доносившуюся оттуда музыку. Иногда она болезненно отзывалась во мне. Я стыдился того, что, идя по улице в приподнятом настроении, мог

внезапно расплакаться от пения скрипки, а то, плетясь в школу, вдруг начинал шагать веселее под звуки труб, играющих галоп. Смушение, жажда обладания и зависть тяжелым камнем лежали у меня в животе. Я знал, что это плохо. Мне было все равно.

Одним мартовским утром я проснулся поздно и почувствовал, что хоть комната и выглядит привычно до тошноты, в воздухе что-то переменялось. Окно в столовой было открыто, и с улицы доносилось какое-то брнчание; время от времени слышались крики, но в них не было ни отчаяния, ни восторга – напротив, что-то даже будничное. Стоял холод, в комнату задувало капли дождя. Я позвал мать, но ее не было дома. Я вышел на улицу посмотреть, что за шум, и в толпе, собравшейся на тротуаре, различил родителей. Мать повязала голову ярким шарфом, который я прежде никогда не видел, и надела расшитый цветами кардиган, его завязки болтались на шее шерстяными кисточками.левой рукой она то и дело прижимала к залитому слезами лицу носовой платок. Правую руку подняла и вытянула выпрямленной ладонью книзу. Я был поражен. Я никогда не видел, чтобы она проявляла такие бурные эмоции, и тем более не мог понять, зачем она отдает воинское приветствие. Плакал и отец, но закрыть лицо не мог, потому что его правая рука тоже была поднята, а в левой он держал саблю Хоффманов.

Потом я увидел приближающуюся колонну людей. Кто ехал на мотоциклах с колясками, затянутыми брезентом, кто – на велосипедах, дребезжащих по булыжной мостовой, кто шел пешком. Утопая в слишком больших зимних шинелях, они несли на плечах что-то длинное и тонкое, и я вспомнил, как фермер в нашей деревне на Эгере, уходя работать в поле, вскидывал на плечо мотыгу и грабли, – но эти мужчины держали оружие. Толпа отхлынула с тротуара, все смолкли, словно из уважения, и мимо проехал танк. В нем, высунувшись по пояс, стоял человек. Он помахал рукой, поймал мой взгляд и помахал еще раз. Танк двинулся дальше, толпа сомкнулась за ним, и я подумал, что в снова поднявшемся шуме что-то слегка изменилось, как будто к восторгу примешалось новое чувство и ослабило его.

Люди часами шли и шли друг за другом, переходили мост и двигались на восток. Колонна редела, разветвляясь повсюду частицами густого черного тумана, поднимающегося с реки и растекающегося по улицам. Город был подавлен, его лихорадило. Я видел много рыдающих женщин и не мог определить, от страха они плачут или от ликования. То здесь, то там собирались небольшие группки,

однако на улицах было тихо, и, заглядывая в окна, я видел застывшие, вытянутые лица. Печатный листок в окне магазина Байеров обещал, что хозяева вернутся завтра, и я представил, как фрау Байер в красивом шелковом платье отдает приветствие, точно моя мать, а Франц и Фредди крутят ручки радио, пока не зазвучит ликующий военный марш.

Прага была, по-видимому, оккупирована, но все выглядело очень обыденно и едва ли даже стоило отдельной колонки в газете. На фонарные столбы уже прикрепили белые знаки с надписью: «IN PRAG FAHREN WIR AUF DER LINKEN SEITE»[7 - В Праге левостороннее движение (нем.)]. Какая опасность могла исходить от армии, которая подчинилась пражскому правилу ездить по левой стороне? Где выстрелы, где разведенные на улицах костры? Я не видел ни героизма, ни жестокости – только плачущих домохозяек да мальчиков в мешковатой военной форме. Судя по всему, как я предполагал уже давно, интересного в этом мире было мало.

Вечером мать поставила на стол букет. Это были дешевые, яркие и ничем не пахнущие цветы, лепестки которых уже начали опадать. Глаза матери сияли, щеки порозовели, и я понял: это как-то связано с тем, что я сегодня видел.

– Сядь, – велела она. – Прекрасный был день, да? Я бы сказала, лучший день твоей жизни. Садись рядом с отцом.

Отец восседал на своем месте очень прямо. Руки он положил на стол, и сабля Хоффманов лежала тут же. Он выглядел очень довольным, покраснелся от радости, как от лихорадки, и мне это не понравилось.

– Сюда. – Он хлопнул ладонью по стулу возле себя. – Смотри, что приготовила твоя мать.

Дверца духовки была открыта, и я чувствовал запах горелого жира и красной капусты с яблоками, тушенной с уксусом. Мать поставила на стол большое овальное блюдо, пролив тонкую струйку на лезвие сабли. Это был рулет из отбивной свинины с начинкой из грибов, мягких, серых, обжаренных в свином жире. Нарезав рулет, она дала сначала отцу, потом мне по порции мяса, от вида которого меня затошнило.

- Ешь! - Мать нагнулась и похлопала меня по животу. - Доедай до конца! Разве ты не знаешь, что сегодня произошло?

- Где уж ему, - сказал отец со странной смесью нежности и презрения. - Этот парень не видит ничего дальше собственных шнурков. А, Йозеф?

Он дернул меня за ухо. Было больно, но я не подал виду.

- Что скажешь? - Он вгрызся в мясо и ухмыльнулся мне.

- Я думаю, что город захватили, - ответил я. - Это были немцы... но почему не видно чешских солдат? Куда делся герр Новак?

- Захватили! - повторил отец. Я не мог понять, рассержен он или удивлен. Он стукнул кулаком по столу, и сабля Хоффманов вздрогнула. - Мы спасены, парень. Нам все вернули - все, что знали твой дед и прадед, все, чего я лишился, теперь будет твоим!

Я совершенно не понимал, о чем он говорит. Я-то чего лишился? Я ел и спал. Я говорил на языке своих родителей. Я мог отличить прилагательное от наречия, потому что меня этому научили в школе. На что мне гордость? Я ничего не ждал, ни на что не надеялся, ничего не искал, ничего не просил, ничего не отдавал.

Мать наклонилась и зашептала:

- Говорят, в конце недели он сам будет выступать в Пражском Граде. Только представь себе! Мы должны пойти. Наверное, будут продавать билеты.

- Мы обязательно пойдем! - подхватил отец. - Нам будут рады - мы представители древнего немецкого рода. Ох, Йозеф, подумать только, я дожил до того дня, когда ты унаследовал все, что тебе принадлежит!

Я с отвращением заметил, что глаза его увлажнились. Я никогда не любил сильных чувств, какими бы они ни были. До самого конца ужина я не проглотил ни куска, но родители не обращали на меня внимания: они открыли бутылку хорошего вина и по очереди пили за поколения наших предков, о которых я ни разу не слышал.

На этом заканчивается та часть рукописи, которую Карел Пражан дал Хелен Франклин. Хелен устала. Чернила сгущаются и, кажется, начинают скатываться к полям, словно вот-вот стекут со страниц под стол и закапают ее одежду. Но что здесь написано такого, что могло бы объяснить перемену в Кареле, его запавшие щеки? Хелен думает об имени, которое за прошедший час или около того стало ей знакомо, – Мельмот, или Мельмотта, или Мельмотка; думает о женщине, отрицавшей все, когда ее расспрашивали; думает о справедливости вынесенного ей приговора. Нетрудно воссоздать в голове образ этой наблюдательницы, этой свидетельницы, вообразить какую-нибудь старую ведьму, закутанную в черное, сгорбленную, злобную, сверлящую вас немигающими глазами, и представить, как покалывает в затылке под ее неумолимым взглядом. Хелен не испытывает ни малейшего желания смотреть в окно, как будто за стеклом она может увидеть лицо, в котором читается такое одиночество и такая отчаянная мольба, что его черты ожесточаются. (И поскольку она смотреть не будет, это должны сделать вы: там, за перилами, – нет, еще чуть дальше, между вон теми припаркованными машинами, – подождите, пусть ваши глаза привыкнут к темноте – вот, теперь видите, да? На фоне изгороди из буковых деревьев с коричневыми листьями стоит что-то неподвижное, но хорошо различимое, сгусток ночной материи. Фигура в черном – да-да! – стройная и невысокая, не сводит взгляда с голой лампочки, горящей на пятом этаже.)

Хелен закрывает глаза и видит мальчика – коренастого, светловолосого, неулыбчивого, уткнувшегося взглядом в свои ботинки; носит он, скорее всего, шорты, замечает совсем немного, а говорит еще меньше. За ее спиной что-то шевелится – очень тихо, только ткань шуршит по ткани, – и в то же мгновение воображаемый мальчик поднимает голову и глядит ей прямо в глаза. «Она смотрит!» – говорит он, и на затылке у Хелен волосы встают дыбом. Она медленно поворачивается на стуле (разумеется, посмеиваясь над собой, надо же было такого напридумывать) и видит, что в дверях, не сводя с нее глаз, стоит женщина – Альбина Горакова, надевшая поверх нескольких слоев своего наряда еще один – бархат и черный шелк, расшитый зеленым. Она держит в руках тарелку.

– Я принесла угощение, – говорит она. – Сладости для сладкой девочки, м?

Шаркая по ковру, переваливаясь и что-то бурча, она подходит и ставит тарелку на стол. Это полдюжины маленьких пирожных; блестящая розовость глазури напоминает влажные складки плоти.

– Сладкая Хелен, – продолжает Альбина. – Ешь, ешь! Думаешь, это яд, а? Ну-ну. Может быть. Может быть. – Она лукаво улыбается Хелен. – Не хочешь есть? Ты ведь никогда не хочешь есть, да? Тощая. Только погляди – тощая, кожа да кости. Есть не ест. Петь не поет. А это что? Стены голые, кровать голая. Все вокруг тебя уродливое, такое же уродливое, как ты сама. – Отвращение булькает где-то у нее в глотке. – Ешь, ешь, ешь.

Она поворачивается – медленно, как разворачивается против течения старый корабль, – и уходит, неразборчиво бормоча себе под нос по-чешски. Содержимое щербатой тарелки источает аромат сахарной глазури и влажного, непропеченного теста, и у Хелен сводит живот. Было бы сейчас неплохо съесть пирожное, думает она, протолкнуть в горло и проглотить плотную сладкую массу. Но ее привычка к самоограничению непоколебима. Она никогда не ставила себе такую цель – она не припоминает, чтобы говорила что-то вроде: «Я не позволю себе получать удовольствие от еды – буду есть только для того, чтобы жить», когда обдумывала, как загладить свою вину и заслужить прощение. И все-таки получилось то, что получилось, думает Хелен, в пирожных масло и сахар, и мне их нельзя. Она не помнит, когда Альбина впервые обратила внимание на ее традицию окружать себя неудобствами, на незастеленный матрас, неотопливаемую комнату, горький чай. Но старуха это заметила, как замечает все, – украдкой, скосив лукавый черный глаз.

Хелен тихонько относит тарелку на кухню, тихонько ставит ее вглубь холодильника. Из комнаты Альбины доносятся звуки скрипки, такие же сладкие, как пирожные, и такие же безжалостно тошнотворные. Хелен останавливается, прижимает ладонь к боку и надавливает, как будто источник музыки прячется у нее где-то в почках или в селезенке и нажатием можно выключить звук. Потом возвращается в комнату, переодевается в ночную сорочку, похожую на грубую рубаху кающегося грешника, ложится на голый матрас и крепко засыпает, – правда, рассветные часы прерываются обрывками снов, вспыхивающими, как картины за окнами опаздывающего поезда: зеленый кафель в коридоре и запах антисептика; ампутированные конечности, накрытые простыней; красные цветы, опадающие на грязный подоконник; ее собственные руки, которые не дрожат от страха перед тем, что собираются сделать, хотя должны бы.

А раз уж она уснула спокойно и глубоко, вы можете осторожно встать на простенький квадрат ковра и снова осмотреть эту лишенную всякой индивидуальности комнату. Как же понять, кто такая эта Хелен Франклин – маленькая, ничтожная, неизвестно почему несчастная, вынесшая самой себе

приговор и ненавидящая себя так тихо, хладнокровно и усердно? Если вы опуститесь на колени (очень осторожно, не шумите), то увидите под кроватью картонную коробку. Она серого цвета, уголок крышки порван, на днище наполовину содранная этикетка с изображением пары туфель. Вытащите эту коробку, поставьте туда, куда падает свет от уличного фонаря, снимите крышку и посмотрите, что там внутри. Видеокассета. Фотография стоящего на балконе городской квартиры молодого человека, смеющегося, черноволосого, в солнечных очках в зеленой оправе. Сложенный в несколько раз носовой платок из жесткой блестящей ткани, какой вы раньше никогда не видели, с отстроченными розовой нитью фестончатыми краями. Маленькая книжка в твердом синем цельнотканевом переплете – стихи Рильке в оригинале. Завернутая в полиэтиленовый пакет упаковка тамаринда в сахаре. Разрисованный карандашом на полях листочек со словами слащавой поп-песенки. Мелкий-мелкий морской жемчуг бледно-розового цвета, перекатывающийся по длинной желтой нитке, серьги из раковин галиотиса. Билет на какой-то заграничный транспорт – возможно, трамвай; письмо на незнакомом вам языке; бутылочка давно испарившихся духов, которая еще хранит стойкий сладкий запах. Две губные помады – жирные, перламутровые, цвета фуксии. Все эти вещи утратили первоначальный вид, коробка уже разваливается от того, что ее постоянно вытаскивают и прячут обратно, рассматривают содержимое. Возьмите письмо, и оно рассыплется у вас в руках. В этом пространстве – тридцать с половиной на двадцать на пятнадцать сантиметров – спрятана целая жизнь, похоронена, зарыта на два метра в английскую землю; она началась сорок два года назад в оштукатуренном домике в Эссексе и закончилась двадцать два года спустя усилием воли.

Хелен Франклин родилась в семье, стесненной в средствах и не доверявшей переменам – отличительная черта определенного типа английских семейств. Ее родители были маленькими, суетливыми, педантичными и вежливыми людьми. Временами обстоятельства вынуждали отца выйти за пределы комфортного для него пространства, и тогда он становился раздражительным; порой мать осознавала, что их жизнь может быть другой, не столь ограниченной, и тосковала. Каждое лето они снимали номер в отеле с хорошим завтраком, каждый год, непременно первого декабря, составляли список тех, кому надо послать рождественские открытки, и никогда не забывали на зиму занести бегонию в дом. Они раздражались, если их просили заехать в незнакомый город, каждый вечер ровно в шесть наскоро съедали скромный ужин и просили гостей оставлять обувь на коврик возле двери. То, что у Хелен рано обнаружилась склонность к языкам, живо заинтересовавшая учителей, вызвало у ее родителей серьезное беспокойство: все, чего они хотели для себя и для дочери, – это

оставаться незамеченными, не просить и не требовать к себе внимания. Когда Хелен прошла отбор в школу для одаренных детей, мать плакала, поскольку не могла примирить материнскую гордость с чувством, что теперь она отличается от соседней, перешла границу дозволенного и в свое время понесет наказание. Хелен же не помнила себя от волнения. Конечно, она походила на мать – худая, маленького роста, с узким землистым личиком и заостренным подбородком, с тонкими волосами, облепывшими голову, – но она была горячо убеждена, что на этом их сходство заканчивалось. Ей казалось невозможным, что впереди у нее всего лишь должность в местной администрации с зарплатой, достаточной для того, чтобы взять ипотеку, и соответствующими декретными выплатами. Иногда, возвращаясь домой из школы с сумкой, бьющей по бедру при каждом шаге, она чувствовала, что за ней наблюдают. Это было не всевидящее божество, обзирающее подвластный ему мир грозными, но в то же время благосклонными очами, – нет, в этом внимательном взгляде было нечто более личное, как если бы за ней следили глаза любящего человека, который ожидает многого от своего любимого.

На школьных собраниях, усевшись по-турецки на паркетном полу, Хелен смотрела на пятьсот остальных девочек и чувствовала, что ей предстоит нечто такое, чем они наверняка похвастаться не смогут. Вечерами она обклеивала свою комнату дешевыми репродукциями прерафаэлитов, а по выходным одевалась в стиле Офелии – настолько, насколько позволял ассортимент местных магазинов. Она постоянно, как одержимая, слушала давно вышедшие из моды песни, и ей снился просторный мраморный зал и послушная свита пажей. Раздевшись и стоя перед зеркалом в свете лампы, она представляла себя не маленьким худощавым подростком с прыщиками на груди, а роскошной смуглой красавицей. Накопив карманных денег, она как-то купила флакончик жасминовых духов, и теперь в коридорах за ней тянулся шлейф аромата. Она читала Рильке, Рабле, Неруду и временами, повинувшись внезапному порыву, заводила с кем-нибудь пылкую дружбу, а потом так же внезапно бросала нового друга. Она жалела обычных девочек, для которых жизнь не приготовила ничего большего, чем то, что было дано их матерям. То, что она выглядела такой обыкновенной и никто ее не замечал, ее только радовало. Ей казалось, что она прячется под маской.

Содержимое потрепанной обувной коробки, которую вы держите в руках, – все, что осталось от тех лет, когда Хелен Франклин жила. Все, что было до, – пролог; все, что было после, – подстрочное примечание.

Проходит восемь дней, и все это время Хелен часто думает о Йозефе Хоффмане. Каждый день она чувствует какое-то смутное беспокойство, хотя назвать его причину затруднилась бы. Не то чтобы она ожидала встретить Мельмот Свидетельницу в коридорах библиотеки или в проходах между стеллажами супермаркета, как только у сотрудников кончится рабочий день, – будь это такая ерунда, ее было бы легко выбросить из головы. Но прочесть рукопись Хоффмана было все равно что выслушать исповедь, а Хелен не годится на роль исповедника, потому что не искупила собственных грехов. Это приводит ее в такое смятение, что теперь она избегает библиотеки, не желая видеть ни стол под номером двести девять (различит ли она царапины в тех местах, где пальцы умирающего Хоффмана вцепились в кожаную обивку?), ни Карела Пражана, несмотря на всю их дружбу.

Проходит девять дней, наполненных мелкими пакостями Альбины Гораковой (кусочек пирожного, втоптаный в ковер прямо на пороге ее комнаты; подожженные с утра пораньше благовония в маленьких конусах, наполнившие жарко натопленную квартиру густой духотой) и переведенными на английский тридцатью девятью страницами немецкого текста и шестью – чешского. На десятый день Хелен приходит в голову, что Карел еще никогда не молчал так долго, и она пишет ему сообщение. «Давно тебя не видела. У тебя все хорошо или ты все-таки простудился, как я и говорила? Тее привет, скоро увидимся». Тщательно выверенное соотношение заботы и беспечности, идеально соответствующее их дружбе. Проходит еще день, и она отправляет второе сообщение, на долю градуса теплее: «Надеюсь, с вами обоими все в порядке. Я должна вернуть тебе рукопись. Может, я загляну в гости как-нибудь попозже?» Хелен не собирается признаваться, что часто думает о Кареле не как об отдельной личности, а как о части большого целого – Карела-и-Теи, их совместных ужинов за блестящим от воска и пролитого вина столом, которые закончились, когда Тею едва не убил тромб, и тех вечеров, когда она чувствовала себя немного свободнее.

На следующее утро Хелен наконец приходит в библиотеку и с удовлетворением обнаруживает, что вполне способна не смотреть ни на гипсовых младенцев, которые спускаются с потолка, пронзительно крича от боли, ни туда, где стоит стол двести девять. Она ищет Карела, но его нет. Вечером, убирая свои переводы в сумку, где уже лежит часть рукописи Хоффмана, она решается навестить друзей.

Это несвойственно ей до такой степени, что, ныряя под каменную арку и встречаясь взглядом с продавцом в билетной кассе (он понимает, что ее не соблазнить опереттами под сводами бывших церквей), Хелен удивляется самой себе: она идет в гости без приглашения? Это она-то? Она затягивает потуже то и дело сползающий пояс. А почему бы и нет? У нее с собой чужие бумаги, и она будет проходить мимо дома их владельца, так что это всего-навсего вопрос хорошего воспитания.

Вечер выдался снежным, велосипеды и мусорные урны все в белом. Сейчас метель уже прекратилась, но в воздухе продолжает кружиться пыль, словно опалы шлифуют о камень. Смелчаки, рассеявшиеся под навесами на стульях с овчинными подстилками, с довольным видом ежатся от холода, а у них над головами церковные песнопения мешаются со светскими мелодиями. «Вот она! – говорят англичане. – Настоящая зима, как во времена нашей юности, когда птицы проклевывали фольгу на бутылках с молоком, которые стояли под дверью». Они платят бешеные деньги за плохое пиво и считают, что это дешево.

Карел и Тея живут сразу за Староместской площадью, через которую Хелен проскальзывает незамеченной, почти ничего не замечая и сама. Она более или менее научилась сопротивляться иллюзорности фасадов, создающих такое впечатление, будто в любое мгновение их можно отдернуть, как шторы. Добравшись до дома друзей, Хелен переводит дыхание и осознает, что шла немного быстрее обычного, словно бы ее подгонял звук чьих-то шагов по мостовой. Вниз по переулку, пройти под аркой, – пригнувшись, хотя каменная дуга довольно высоко над головой, – и вот двор, в который смотрят окна четырех домов, и знакомая дверь, заваленная снегом.

Хелен останавливается и поддевает пальцем ремешок сумки, который давит на ключицу. Она быстро прикидывает в уме: или они не выходили из дома, скажем, в течение дня (а то и больше?), или ушли и до сих пор не вернулись. Она делает шаг вперед, и в это мгновение одинокий фонарь под аркой гаснет и весь двор погружается во мрак. Каждое из тридцати одинаковых окон над тридцатью одинаковыми подоконниками кажется черным квадратом в черноте, и все это создает впечатление абсолютной пустоты, как будто тут никогда и не зажигали фонарей. Только с далекой Староместской площади под арку пробивается слабый свет – такой слабый, словно он очень далеко, словно до него двадцать километров, а не двадцать шагов. Хелен не двигается. Вслушивается в тишину, напрягаясь всем телом. Что она пытается расслышать – шелест длинных юбок, волочащихся по снегу, похрустывание ботинок, – а может, босых ног, обошедших

континенты и не чувствующих боли? Она вслушивается – и, конечно, не слышит ничего, кроме уплывающих в темноту далеких звуков чешской волынки. Потом фонарь в арке зажигается снова – наверное, контакт отошел, – и Хелен, моргая, замечает кое-что, чего не заметила раньше: дверь приоткрыта, между ней и косяком щель шириной буквально с палец. Она разглядывает эту длинную черную полосу. Воспитанным людям не полагается заходить в дом без приглашения, но Хелен кажется, что здесь что-то не так.

– Карел? – зовет она. – Тея? Это я. Можно к вам?

Тишина. А мама, думает она, на моем месте закричала бы: «Ау-у! Карел! Тея!»
Ответа нет, и Хелен толкает дверь и входит.

Она оказывается в маленьком коридорчике с подставкой для зонтов и крючками для пальто и замирает, вслушиваясь. Тишина эта – нечто большее, чем просто отсутствие звука. Ее можно услышать, и Хелен слышит – густую, мягко давящую на барабанные перепонки. Хелен нажимает на выключатель, и коридор и все предметы в нем становятся точно такими, какими она их помнит, но сам воздух теперь другой, в нем нет ничего, совершенно ничего – в луче света не кружится ни единой пылинки, лилия в вазе ничем не пахнет. Кажется, что Карел и Тея не ушли несколько часов назад, а вообще не появлялись; их не просто сейчас нет дома, их никогда здесь не было. Хелен проходит дальше по коридору, отмечая знакомые детали обстановки: простой сосновый пол, с которым совсем не сочетается пандус с зернистой серой поверхностью; буфет, заставленный стеклянной посудой; картинки в белых рамках, вырезанные из учебников ботаники, – и останавливается в том месте, где пандус спускается к двери. Она тоже прикрыта неплотно, и Хелен, вытягивая перед собой руку, с любопытством наблюдает собственную дрожь.

Вдруг она останавливается: из-за двери доносится звук, лишь отдаленно напоминающий человеческий голос. Прежняя хладнокровная отстраненность Хелен сменяется приливом страха, который вынуждает ее собраться с духом. Она толкает дверь и резким движением бьет по выключателю. В длинной комнате мгновенно становится ослепительно светло, как в операционной. В белом свете лампочек, спрятанных за выступами белого потолка, Хелен открывает знакомую картину: длинный стол, на котором стоят наконец распустившиеся после стольких усилий первоцветы и призывно возвышаются стопки книг. Под ногами у нее привезенный из Турции коврик, а впереди – плита с шестью конфорками, без которой, по словам хозяйки, достойный обед не

приготовишь, и свидетельства недавнего прошлого Теи: цветная коробка с хранящимся в ней париком барристера и несколько томов «Защиты подсудимого, свидетельских показаний и судебной практики» Арчбольда в красном переплете. Но и здесь воздух пуст, не пахнет ни едой, ни вином, ни свечами в голубых стеклянных подсвечниках. Даже гиацинт на столе не имеет запаха, как будто его белые цветки сделаны из пластмассы. В вогнутом посеребренном телескопическом зеркале Карела, прислоненном к подоконнику, видно искаженное отражение комнаты.

Во главе стола стоит инвалидное кресло. Оно небольшого размера, без каких бы то ни было приспособлений для самостоятельного передвижения, просто алюминиевый стул на колесах. В нем сидит Тея. Руки сложены на коленях, ноги повернуты носками внутрь, как у инвалида с рождения. Ее голова покоится на черной кожаной спинке кресла. Накрашенный рот широко раскрыт, челюсть отвисла, будто где-то в черепе развинтился шуруп. Отросшие волосы всклокочены, золотисто-рыжие пряди рассыпались по торчащим из-за спинки кресла пластмассовым ручкам. Лицо запрокинуто к потолку, на веках зеленые тени, из-под ресниц влажно поблескивают белки глаз. По обеим сторонам от Теи стоят два деревянных стула, отодвинутых ровно настолько, чтобы можно было выйти из-за стола. На столе три пустых бокала для вина.

Снова раздается этот звук – можно даже сказать, хрип, потому что невозможно счесть его хоть сколько-нибудь осмысленным или различить в нем отдельные слова. Сначала Хелен не может понять, откуда он доносится, но потом этот влажный всхлипывающий звук, в котором сейчас больше человеческого, чем животного, раздается снова. Хелен подходит ближе. Нижняя челюсть Теи со щелчком смыкается с верхней, а потом снова отвисает под своеобразный аккомпанемент, в котором безошибочно распознается храп. На этот раз он выходит таким громким, что Тея просыпается, стискивает полусогнутые пальцы и медленно приподнимает голову. Она открывает глаза, снова закрывает и принимается яростно их тереть, так что рукав халата закатывается и обнажает на запястье закрепленный ремешками эластичный бандаж.

Хелен чувствует такое облегчение, что мгновенно забывает свой прежний страх и дурные предчувствия. Тревога, одолевавшая ее в коридоре, теперь не только кажется ей нелепой, но и полностью улетучивается из памяти.

– О господи, – произносит Тея своим обычным голосом, которым она владеет настолько виртуозно, что по акценту о ее происхождении (на самом деле не

таком уж и благородном, как можно было бы подумать при взгляде на эту элегантную женщину с недюжинным самообладанием) догадаться просто невозможно. – Хелен? Что ты здесь делаешь?

– Тея! – говорит Хелен. – Тея!

И, к их обоюдному изумлению, отвечает ей пощечину. Тея медленно качает головой и смотрит на нее из-под тяжелых, сонных век. В свете лампочек они отливают зеленым.

– Они ушли? То есть... – Тея поворачивает голову налево, потом направо, наконец-то очнувшись и растерянно осматривая комнату. – То есть он ушел? Знаешь, мне кажется, что да. Я предполагала, что он может уйти. Я ему говорила: в конце концов ты все-таки уйдешь. – На мгновение она замолкает, потом, хмурясь, спрашивает: – Скажи, здесь есть какая-то женщина?

– Здесь есть я, – отзывается Хелен. – Я есть, а Карела нет. Тея, тебе плохо? Вызвать врача?

Она ждет ответа. Тея не любит тишину и обычно не позволяет ей затянуться надолго, но сейчас Тея молчит – только по-прежнему в оцепенении смотрит по сторонам с рассеянным видом, будто так и не проснувшись окончательно. Хелен, англичанка до мозга костей, энергично хлопает ладонью по столу.

– Ну тогда я сейчас поставлю чайник и мы выпьем чаю.

И начинается священнодействие: в чайник отправляются две щепотки привезенной из дома заварки, вода кипятится, чашки благоговейно водружаются на стол. Тея смотрит равнодушно и говорит «спасибо», обнимая чашку обеими ладонями: так она в последнее время пьет чай.

Сделав два глотка, она приходит в себя:

– Выключи этот idiotский свет, а? Поставь свечку, что угодно, у меня голова болит.

Хелен послушно выключает свет и чиркает спичкой, зажигая свечку, оплывающую на голубое стеклянное блюдце. Тея со вздохом произносит:

– Так лучше. Боже, моя голова... Что случилось? Я ничего не помню.

Понаблюдав за ней, Хелен приходит к выводу, что хотя губы Теи накрашены очень криво, но говорит она внятно. Значит, это не очередной инсульт – нет, произошло что-то необычное.

– Тогда допивай чай, просыпайся окончательно и рассказывай все, что можешь. Но сначала давай я позвоню Карелу. Давай?

Хелен набирает трижды, и трижды он не берет трубку.

– Я так и думала, – бросает Тея. – Да, так я и думала.

Почему она так спокойна? – недоумевает Хелен. Есть в этом что-то жуткое. Где же тревога любящей женщины, где злость на партнера? Должен же был напоследок разразиться какой-нибудь бурный скандал. Слишком тяжело наблюдать за тем, как единое целое Карела-и-Теи расходится по швам в месте их спайки друг с другом, и Хелен наливает еще чаю.

– Расскажи мне все, что помнишь. Вот стоят три бокала, и все вино выпито. У вас были гости?

– Гости? – Повертев в руках чашку, Тея ставит ее на стол, не обращая внимания на пролившийся чай. – Чтоб ты знала, к нам эти гости уже неделями ходят! Нас стало трое с того самого дня, как в доме появилась эта гребаная рукопись. Я, он и призрак! – С неожиданно вспыхнувшей злобой она ударяет по чашке рукой в бандаже. Чашка падает на пол и разбивается. – Он говорил тебе об этом? О ней?

– О Мельмот? – уточняет Хелен.

Это имя, произнесенное вслух, производит поразительный эффект. С тем же успехом, думает Хелен, можно было бы сказать «Питер Пэн» и ждать, что в комнату влетит мальчик в зеленом костюмчике. И все-таки разве она не поглядывает на затворенную дверь, на закрытые окна?

– Мельмот, – повторяет Тея. – Господи! Он заявился домой с вонючей папкой, которую ему оставил какой-то старый придурок, – стоило ему только переступить порог, как я почувствовала этот животный запах, будто кожа уже начала гнить, – и тогда-то все и началось. Впрочем, началось оно еще раньше. Ну ты знаешь, ты же видела, что наши отношения угасли вместе со мной.

Хелен не делает того, чего требует вежливость, – не протестует, не успокаивает Тею, не говорит ей, что ни любовь, ни уважение Карела не поколебались в тот момент, когда его подруга за ужином вдруг рухнула лицом в тарелку и в одночасье стала калекой. Они поколебались, и это было очевидно. Карел стал держаться с ней натянуто, проявлять заботу, вести себя очень осторожно – он прикладывал большие усилия, и они были слишком заметны. Вместо утешения Хелен делает то, чему ее учила мать: подметает фарфоровые осколки, вытирает лужицу и наливает еще чаю.

– И что потом? – спрашивает она.

– Я его больше не вижу. Он делает все, что вынужден делать: достает вещи с полка, до которых мне не дотянуться, поднимает меня, когда я не могу сама держаться за поручни в ванной. Даже целует меня. Иногда кладет руки вот сюда, как раньше. – Передразнивая его, Тея растопыривает пальцы на уровне груди, где сходятся бархатные края запахнутого халата. – Видишь, здесь у меня даже после инсульта ничего не ubyло. Потом укладывает меня спать, но тут я вспоминаю, что забыла выпить какую-нибудь таблетку, и зову его, чтобы не пришлось мучиться и ползти за ней самостоятельно, – Хелен, унижение прикончит меня намного быстрее, чем мое собственное тело! Он укладывает меня спать, и кажется, что вот теперь-то, избавившись от этой старухи, убрав ее с глаз долой, он может жить дальше. Всю ночь он просиживает за чтением рукописей, выписывает что-то, приносит домой книги и письма. Иногда восклицает: «Мельмот Свидетельница следит за мной!» Ради меня сводит все в шутку. «Я был нехорошим мальчиком», – говорит он и смеется. Но разве мы не смеемся громче всего именно тогда, когда больше всего напуганы?

Взгляните на Хелен: что-то изменилось. Вплоть до этого момента Мельмот обладала в ее глазах меньшей ценностью, чем детские сказки, потому что о ней Хелен узнала совсем недавно. Золушка, Синяя Борода, Питер Пэн были известны ей с самого детства, их она приняла без колебаний. Мельмот не удостоилась такой чести – она вынуждена самостоятельно заявить о себе ее воображению, вынуждена трижды постучать в дверь. И вот сейчас, пока Тея откидывает голову

на спинку кресла, а на улице кто-то подзывает собаку, Хелен наконец слышит стук в дверь, отпирает ее, и Мельмот входит в комнату.

– Я видела его в библиотеке, – говорит Хелен и тянется за шарфом – ей стало холодно. – Он фотографировал книги, как и всегда. Разве он не искал материалы для какой-нибудь статьи?

– Какой-нибудь статьи!

Тея усмехается, пытается вытащить из-за груды книг несколько тетрадей и ворох бумажных листов (Хелен наклоняет голову вбок и читает: «Всадник на белом коне»; на другом томе полустертыми золотыми буквами написано: «...ЕРТ МЕТЬЮРИН»), но не может до них дотянуться. Она раздраженно кряхтит, но обрывает себя прежде, чем Хелен успеет ее пожалеть.

– Достань вон те стопки, ладно? Тетради и бумаги. И полистай их. Давай же.

Взгляд, который Тея бросает на Хелен, очень напоминает ту хитрую и неприятную улыбку, с которой Карел тогда вручил ей рукопись Хоффмана. Колеблется ли Хелен? Да, пожалуй, немного. Она протягивает руку с какой-то медлительностью, с неохотой.

– Хорошо, – говорит она. – Но ты мне так и не рассказала, что произошло вечером, кто к вам приходил и куда исчез Карел.

Тея хмурится.

– Это сложно. Из-за лекарств я все время хочу спать... Мы поссорились. Я хотела погулять и сказала ему, что смогу немного пройтись пешком, если он доведет меня в кресле до площади. Я слышала звуки волынки и хотела поздороваться со старым мастером Гусом. Но Карел отказался. Якобы что-то новое обнаружил. Что-то про эту женщину-наблюдательницу, причем не где-нибудь, а в Эссексе. Тогда я выпила вина, чего мне вообще-то делать нельзя, и сказала: «Если ты уходишь к другой, ты должен хотя бы рассказать мне о ней». И он рассказал.

Тея умолкает, поднимает голову, и на мгновение все становится как раньше, в старые добрые времена, когда зимой она раздевалась догола и ныряла в Махово

озеро.

- Я могу рассказать тебе, - предлагает она. - Если хочешь.

- Да, хочу, - отвечает Хелен, потому что больше всего ей хочется вернуть, хоть бы и на краткий миг, ту Тею, которая с такой легкостью могла завладеть всеобщим вниманием на полчаса, словно по-прежнему работала в суде.

- Тогда принеси мне еще чашку и зажги еще свечку. Ты уверена, что здесь больше никого нет? И в коридоре тоже никого?

На столе появляется новая чашка, новая свеча послушно вспыхивает, и голос Теи понемногу крепнет, как будто она обращается к уснувшим в глубине зала присяжным.

- Думаю, ты уже знаешь эту легенду: несколько женщин пришли к могиле Христа, чтобы умастить его тело миром, - но, как тебе скажет любой прилежный ученик воскресной школы, они увидели, что камень отвален от входа, а внутри никого. Как истинные женщины, они побежали сообщить о случившемся мужчинам, однако те сочли все это пустой выдумкой, и их можно понять. Одна из этих женщин, которую сейчас называют Мельмот, Мельмоттой, Мельмат и еще дюжиной других имен, наотрез отказалась подтверждать слова подруг и заявила, что они все сочинили. Она была наказана не смертью, а бессмертием и теперь блуждает по земле до второго пришествия Христа - остается только надеяться, что Он будет настроен снисходительно, - и обречена всегда появляться там, где царят безысходность, мрак и смерть.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Черный театр (Černé divadlo) – одна из достопримечательностей Праги, особый вид театра, постановки в котором основаны на принципе «черного кабинета» – оптической иллюзии, которая позволяет скрыть или выделить ту или иную часть сценического пространства. Действие происходит на черном фоне, актеры тоже одеты в черное, а покрытый флуоресцентной краской реквизит или отдельные детали костюмов подсвечиваются ультрафиолетовыми лампами. – Здесь и далее под звездочкой примеч. перев.

2

Эгер, как она тогда называлась, теперь утратила свое немецкое название и обозначена на картах как Огрже. Есть старая шутка, что Огрже должна быть единственной теплой рекой в Чехии, потому что ohrat значит «греть», но когда я мальчиком плавал в ней, на берег я всегда вылезал дрожа. На ее берегу сейчас стоит Терезин, но я знал это место под названием Терезиенштадт.

3

Лесное стекло – особый вид стекла зеленоватого оттенка, изготавливавшийся с примесью древесной золы.

4

В 1786 году на заседании Чешского научного общества впервые был описан любопытный минерал. Зеленый полупрозрачный камень, месторождения которого обнаружили только в долине Молдау, получил название молдавит. Он

был так похож на зеленое стекло, что сначала его приняли за осколки, которые тысячу лет назад бросали в реку мастера-стеклодувы. Однако наука опровергла эту теорию, и теперь известно, что эти камни – раздробленные кусочки метеорита, образовавшего четырнадцать миллионов лет назад кратер Нёрдлингенский Рис. Лучшие образцы отличаются ярким цветом и прозрачностью и имеют структуру папоротника, напоминающую морозные узоры на окне. Поскольку Молдау сейчас называется Влтавой, этот минерал больше известен под названием влтавин. Я дорожил своим камнем больше всего на свете, но потерял его, когда мне было тринадцать.

5

Как-то раз Карл IV, император Священной Римской империи, родившийся в 1316 году и сначала получивший имя Вацлав в честь Доброго короля, ехал через Богемский лес и наткнулся на горячий источник. Обнаружив, что воды облегчают боль в ноге, мучившую его после давнего ранения, император велел основать у источника маленькое красивое поселение, где могли бы останавливаться его придворные и спутники. Так на берегах Эгера вырос великолепный город с длинными открытыми галереями в стиле ар-нуво, где между высоких колонн прогуливались дамы. На воды приезжали великие – Бетховен, Гоголь, Паганини; приезжал и анатом Пуркине, который открыл существование потовых желез и однажды, съев мускатный орех, несколько дней видел галлюцинации. Дымящаяся вода струилась из бронзовых пастей морских змей в бронзовые чаши, в колоннадах висели часы, похожие на вокзальные, а прибитые к полу бронзовые таблички показывали температуру воды в градусах Цельсия. Все это осталось, а великих больше нет. Прежнего города на картах и дорожных знаках тоже больше нет, и теперь его полагается называть Карловы Вары.

6

Анежку Грузову, швею-католичку, которой было всего девятнадцать лет, нашли первого апреля 1899 года в лесу с перерезанным горлом. Она лежала в луже крови, и на камнях рядом и на ее разорванной одежде тоже была кровь.

Арестовали Леопольда Хилснера – молодого еврея, бродягу с интеллектуальным развитием на уровне ребенка, – хотя против него не было достаточных улик. На показательном процессе сторона обвинения заявила, что убийство девушки было частью еврейского заговора с целью похищения христианских детей и использования их крови в темных дьявольских ритуалах. Хилснер был приговорен к смертной казни, и из тюремной камеры ему было слышно, как плотники строят для него виселицу. Позже его помиловали, но так никогда и не простили.

7

В Праге левостороннее движение (нем.).

Купить: https://telnovel.com/perri_sara/mel-mot

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)